



КАН
ЖЕНЕ

18+

Жан Жене
Богоматерь цветов
Серия «Книга non grata»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10748982
Ж. Жене. Богоматерь цветов: ООО «Издательство АСТ»; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-090851-6

Аннотация

Адепт радикального индивидуализма Жан Жене – пожалуй, самая яркая фигура 20-го века. Поль Валери, прочитавший «Богоматерь цветов» сказал, что это произведение гения, но его следует сжечь.

Для России – «святой» Жене все так же на самом фронтире, а его тексты не могут быть освоены современной культурой.

«Негр Анж Солей убил любовницу. Чуть позже солдат Морис Пилорж убил своего любовника Эскудеро и украл у него около тысячи франков, а потом в день его двадцатилетия ему отрубили голову, и во время казни, вы ведь помните, он насмеялся над своим взбешенным палачом. И наконец, один морской лейтенант, совсем еще мальчик, был уличен в предательстве: его расстреляли. В память об их преступлениях я пишу эту книгу», – Жан Жене.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

35

Жан Жене

Богоматерь цветов

Jean Genet
Notre-Dame-Des-Fleurs

© Editions GALLIMARD, Paris, 1976
© Алла Смирнова, перевод
© Chris Lopez, иллюстрация на обложке
© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Без Мориса Пилоржа, чья смерть омрачила всю мою жизнь, я не написал бы этой книги. Я посвящаю ее его памяти.
Ж. Ж.

Вейдман явился вам в пятчасовых новостях, с головой, обмотанной белыми бинтами, похожий одновременно на монашку и на раненого летчика, упавшего в поле ржи; явился однажды сентябрьским днем, точно таким же, как тот, когда стало известно имя Нотр-Дам-де-Флёр. Его прекрасное лицо, размноженное линотипом, обрушилось на Париж и всю Францию, вплоть до самых отдаленных деревушек, на замки и хижины, открывая опечаленным людям простую истину: их повседневная жизнь соприкоснулась с пленительными убийцами, которые прокрались в их сны, прошли сквозь них по приставной лестнице, и она, их тайная сообщница, ни разу не скрипнула. Под его изображением занимались зарею его преступления: убийство номер 1, убийство номер 2, убийство номер 3, и так до шести, они извещали о его нынешней тайной славе и провозглашали славу грядущую.

Чуть раньше негр Анж Солей убил любовницу.

Чуть позже солдат Морис Пилорж убил своего любовника Эскудеро и украл у него около тысячи франков, а потом в день его двадцатилетия ему отрубили голову, и во время казни, вы ведь помните, он насмеялся над своим взбешенным палачом.

И наконец, один морской лейтенант, совсем еще мальчик, был уличен в предательстве: его расстреляли. В память об их преступлениях я пишу эту книгу.

Вести об этих прекрасных и сумрачных цветах, о всплесках их цветения, доходили до меня обрывками: о чем-то поведал клочок газеты, о чем-то небрежно проговорился мой адвокат, о чем-то рассказали, почти пропели заключенные – их пение казалось фантастическим зонгом и похоронным маршем (некий De Profundis), как жалобы, которые они распевают по вечерам, и голос, проникающий сквозь стены камер, доносит до меня их тревогу, отчаяние, жажду. В конце фразы голос словно ломается, и эта трещина-надрыв делает его до такой степени пленительным, что кажется, будто звучит музыка ангелов, и это вызывает у меня ужас, потому что ужас вызывают сами ангелы, ведь они, как мне представляется, устроены так: ни духа, ни плоти, белесые, смутные и пугающие, словно полупрозрачные тела привидений.

Эти убийцы, теперь уже сами мертвые, все же проникли ко мне, и каждый раз, когда одна из этих траурных звезд спускается в мою камеру, сердце начинает колотиться сильнее, напоминая раскаты барабана, извещающие, что город сдан. А затем меня охватывает горячее волнение, подобное тому, которое скрутило меня и заставило на несколько минут

нелепо съежиться, когда я услышал пролетающий над тюрьмой немецкий самолет и разрыв сброшенной им совсем рядом бомбы. В мгновенной вспышке возник передо мной одинокий мальчик, уносимый железной птицей, с улыбкой сеющий смерть. Из-за него одного неистовствовали сирены, колокола, прогремел сто один выстрел пушки на площади Дофин, разносились крики ненависти и ужаса. Камеры дрожали, тряслись, безумствовали от страха, заключенные бросались на двери, катались по полу, вопили, рыдали, проклинали и молили Бога. Я видел, говорю я вам, или мне показалось, что я видел восемнадцатилетнего мальчика в самолете, и из недр своей 426 я послал ему улыбку любви.

Не знаю, кому на самом деле принадлежат эти лица, что обрызгали стену моей камеры жемчужной грязью, но совсем не случайно я стал вырезать из журналов эти прекрасные портреты с пустыми глазами. Я говорю пустыми, потому что все они светлые и, наверное, небесно-голубые, как проволока, на которой держится звезда, испускающая рассеянный свет, голубые и пустые, как окна строящихся зданий напротив, через которые можно увидеть небо. Как утренние казармы, открытые всем ветрам, которые кажутся пустыми и чистыми, когда кишат опасными самцами, развалившимися вперемежку на своих койках. Я говорю пустые, но когда они опускают веки, то тревожат и смущают меня больше, чем девочку-подростка, что проходит мимо зарешеченных окон огромных тюрем, за которыми спит, мечтает, сквернословит, харкает толпа убийц, и каждая камера превращается в гадюшник, клубок змей, а еще в исповедальню со шторкой из пыльной саржи. За ними, этими глазами, не видится никакой тайны, они как некоторые города-крепости: Лион, Цюрих, они завораживают меня, как пустые театры, обезлюдевшие тюрьмы, неработающие механизмы, пустыни, ибо пустыни тоже огорожены со всех сторон, как крепости, и не сообщаются с бесконечностью. Люди с такими лицами приводят меня в ужас, когда мне приходится на цыпочках проскальзывать мимо, но какой восхитительный сюрприз, когда в этом ландшафте, на повороте безлюдной улочки я, растерянно приблизившись, не обнаруживаю ничего, лишь пустоту, мучительную, горделиво вознесшуюся ввысь, как стебель наперстянки!

Как я уже говорил, не знаю, в самом ли деле это лица моих казненных друзей, но по некоторым признакам я понял, что они, те, которые на стене, податливы, словно ремешки кнута, несгибаемы, как ножи, сведущи, как дети-ученые, и свежи, как незабудки, с телами, избранными, чтобы в них поселились ужасные души.

В мою камеру газеты приходят плохо, и самые красивые страницы уже разворованы, как майские сады, из них похищены самые прекрасные цветы, эти воры. Неумолимые, суровые воры с горделивым стеблем в паху, и я уже не знаю, может, это лилии, а может, и вовсе эти стебли, эти лилии – не совсем они, и по вечерам, стоя на коленях, я мысленно охватываю руками их ноги – такая твердость меня подавляет и приводит в замешательство их самих, а воспоминания, которые я с наслаждением отдаю на растерзание своим ночам, это воспоминания о тебе, который во время моих ласк оставался неподвижен; только твой, готовый к бою, жезл бился в моем рту с неожиданно злобной ожесточенностью колокольни, прорвавшейся чернильным облаком, словно в грудь ткнули шляпной булавкой. Ты не шевелился, ты не спал, не мечтал, ты обратился в бегство, бледный и неподвижный, заледеневший, прямой, одеревенело вытянувшийся на плоском ложе, как гроб на волнах, а я знал, что мы целомудренны и невинны, и внимательно следил, как ты перетекаешь в меня, теплый и белый, короткими безостановочными толчками. Возможно, ты наслаждался наслаждением. На самом пике безмятежный экстаз озарил твое лицо, и твое тело блаженного оказалось окутано божественным сиянием, словно покровом, сквозь который ты просвечивал с головы до ног.

Однако мне удалось заполучить два десятка фотографий, и я приклеил их хлебным мякишем на обратной стороне вывешенного на стене распорядка дня. Некоторые из них

оказались припилены кусочками латунной проволоки, которую мне приносит старший мастер, чтобы я нанизывал на них бусинки цветного стекла.

Из тех же бусин, из которых заключенные соседних камер мастерят погребальные венки, я для самых страшных преступников смастерил звездообразные рамки. Вечером, как вы открываете окно на улицу, я поворачиваю обратной стороной правила внутреннего распорядка. Улыбающиеся и хмурые, те и другие неумолимые, пробираются в меня через все распахнутые отверстия, их сила заполняет и возвышает меня. Я живу среди этих бездн. Они правят моими привычками, которые, вместе с ними самими, и есть вся моя семья и мои единственные друзья.

Вполне возможно, среди этих двух десятков и затесался парень, который не совершил ничего достойного тюрьмы: какой-нибудь спортсмен-чемпион. Но если я все-таки прикрепил его на свою стену, значит, мне показалось, будто у него в уголке рта или у краешка века имеется священный знак чудовища. Некий надлом черт лица или что-то в их жесте указывают мне: возможно, они меня любят, ибо любят они меня только если они чудовища — и значит, можно сказать, что он, этот случайно сюда попавший, сам сделал выбор, решив оказаться здесь. Чтобы окружить их достойным кортежем и свитой, я стал подбирать здесь и там, с обложек приключенческих романов то юного мексиканца-метиса, то гаучо, то кавказского всадника, и на страницах этих романов, которые передают из рук в руки во время прогулок, неумелые рисунки: профиль вора с папиросой в зубах или силуэт парня с торчащим членом.

По ночам я люблю их, и моя любовь вдыхает в них жизнь. Днем я погружен в разные хлопоты. Я, как внимательная хозяйка, слежу, чтобы ни крошка хлеба, ни горстка пепла не упала на пол. Зато ночью! Страх перед охранником, который может неожиданно зажечь верхний свет или сунуть голову в прорезанное в двери окошко заставляет меня принимать гнусные меры предосторожности, чтобы скомканное одеяло не выдало моего удовольствия, но если мой жест и теряет в благородстве, то необходимость соблюдать тайну лишь увеличивает наслаждение. Я парю. Правая рука под одеялом медлит, лаская отсутствующее лицо, а потом и все тело того человека-вне-закона, которого я избрал, чтобы этим вечером он составил мое счастье. Левая ладонь охватывает контур, пальцы смыкаются на воображаемом члене, который сперва пытается вырваться, затем отдается, раскрывается, и сильное тело, здоровенный бугай, отделившись от стены, падает на меня, вдавливая в соломенный тюфяк, заляпанный сотней заключенных, а я проваливаюсь в это счастье, не сомневаясь, что существует Бог и Его Ангелы.

Никто не может сказать, выйду ли я отсюда, а если выйду, то когда.

С помощью моих неизвестных возлюбленных я буду писать эту историю. Мои герои — они, прилепленные на стену, они и я, запертый здесь на замок. По мере того как вы станете читать эту книгу, ее персонажи, и Дивин, и Кулафруа, будут падать со стены на мои страницы, как осенние листья, чтобы удобрить мое повествование. Придется ли мне рассказывать про их смерть? Она станет для всех смертью человека, который, узнав от суда присяжных, что ему предстоит умереть, только и пробормочет со своим рейнским акцентом: «Я уже далеко отсюда». (Вейдман).

Возможно, эта история и не покажется надуманной, и даже без моей помощи в ней можно будет узнать голос крови: а если мне и придется биться ночью лбом в дверь, пытаясь освободиться от мучительного воспоминания, которое преследовало меня со дня сотворения мира, то простите уж мне. Эта книга всего лишь частичка моей внутренней жизни, и только.

Порой подкравшийся на бархатных ногах охранник здоровается через окошко. Он долго, многословно рассказывает о моих соседях мошенниках, о поджигателях, о фальшивомонетчиках, об убийцах, об отчаянных подростках, которые катаются по полу с криком: «Мама, помоги!» Он глухим щелчком захлопывает окошко и оставляет меня один на один

со всеми этими красавцами, которым только что сам позволил проникнуть сюда и которых тепло одеяла, утреннее оцепенение заставляют корчиться, пытаюсь отыскать кончик нити, что позволит размотать клубок побудительных причин, всю систему сообщничества, всю эту свирепую и утонченную машинерию, которая стала очередным фокусом для того, чтобы несколько розовощеких девочек превратились в бледных покойниц. Их тоже я хочу перемешать – где ноги, где головы, не разберешь, – с моими приятелями со стены, чтобы вместе они составили историю ребенка. И переделать на свой лад, к очарованию моей камеры (я хочу сказать, что благодаря ей моя камера будет очарована), историю Дивин, которую я едва знал, историю Нотр-Дам-де-Флёр и, не сомневайтесь, мою собственную историю. Приметы Нотр-Дам-де-Флёр: рост 1 м. 71, вес 71 кг, лицо овальное, волосы светлые, глаза голубые, кожа смуглая, зубы ровные, нос прямой.

Дивин – Божественная – умерла вчера в луже своей извергнутой крови, такой красной, что, выпуская дух, она прониклась божественной иллюзией, будто эта кровь есть видимое воплощение черной дыры, которую вспоротая скрипка, увиденная однажды у следователя среди вороха вещественных доказательств, являла с трагической настойчивостью, как Сын Божий золотистую язву, где мерцает огненное Сердце Иисусово. Вот это и есть божественная сторона ее смерти. Другая же сторона, наша, человеческая, из-за потоков крови, растекашейся на рубашке и простынях (ибо солнце, пробивающееся на окровавленных простынях, опустилось в ее постель), делает ее смерть равновеликой убийству.

Дивин умерла – святая и убиенная – от чахотки.

Сейчас январь, даже в тюрьме январь, и утром на прогулке мы, заключенные, тайно пожелали друг другу счастливого нового года, смиренно и неприметно, как, вероятно, в буфетной поздравляют друг друга слуги. Главный надзиратель в качестве новогоднего подарка выдал каждому маленький двадцатиграммовый пакетик крупной соли. Три часа пополудни. За решетками со вчерашнего дня льет дождь и свистит ветер. Я, словно по волнам океана, отпускаю себя парить по угрюмому кварталу, над мрачными и непроницаемыми, но легкими домами (это если верить воспоминаниям, ибо материя воспоминания пориста и ноздревата). Мансарда, в которой Дивин так долго прожила, находится как раз в одном из таких домов. Через большое окно комнаты взгляд устремляется (и оказывается очарован им) на крошечное кладбище Монмартра. Лестница, что туда ведет, играет сегодня важную роль. Это извилистая, словно коридоры Пирамид, прихожая временной усыпальницы Дивин. Пещеристый подземный ход виден четко, словно вытянутая во мраке рука мраморного велосипедиста, которого этот же мрак и поглощает. Вырастая из улицы, лестница простирается вверх, к смерти. Она карабкается до последнего временного алтаря. Она пахнет засохшими цветами и – уже! – свечами и ладаном. Она поднимается во мрак. С каждым этажом она становится уже и темнее, так что на самой вершине это всего лишь иллюзия, перемешанная с лазурью. Это и есть лестничная площадка Дивин. Между тем внизу на улице под черными нимбами крошечных плоских зонтов, которые они несут в руке, как букеты, Мимоза I, Мимоза II, Мимоза III с половиной, Первопричастница, Ангела, Монсеньор, Кастаньет, Режин, словом, вся толпа, долгая литания существ с пронзительными именами, – замерли в ожидании, а в другой руке несут, как зонты, букетики фиалок, теряясь в мечтании, после которого очнется оглушенная, ошеломленная величием происходящего, одна из них, предположим, по имени Первопричастница, потому что вдруг вспомнит волнующую, как песня, долетевшая из иного мира, из нашего мира, фразу из статьи какой-то вечерней газетки: «Черный бархатный ковер отеля Грийон, где стоял эбеновый, отделанный серебром гроб, в котором покоилось набальзамированное тело принцессы Монако, был устлан пармскими фиалками». Первопричастница была очень зябкой. Она, как и положено истинным леди, вытягивала подбородок. Потом она втянула его и затаилась в закоулках истории,

порожденной ее мечтаниями, и чтобы возвеличить их, ей пришлось вспомнить все случившееся в ее тусклой жизни, в которой она была мертвой, в которой она была принцессой.

Дождь благоприятствовал ее бегству.

Те, кто исполняли роли «девочек», носили короны из стеклянных бусин, в точности такие, какие я делаю в своей камере, куда они приносят аромат влажного мха и память о липком следе слизняков и улиток на белых церковных камнях в моей деревне.

Все они, педерасты, гомосексуалы, самцы, шалавы, петухи, тетки, о которых я говорю вам, собрались у подножия лестницы. Они тесно сгрудились и болтают, щебечут, чирикают, «девочки» вокруг «котов» – прямых, напряженных, неподвижных и молчаливых, как ветви деревьев. Все одеты в черное: брюки, куртка, плащ, но их лица, юные и старые, гладкие и морщинистые, разделены на разноцветные четверти, словно герб. Идет дождь. К шуму дождя примешивается:

- Бедняжка Дивин!
- Еще бы! Что ты хочешь, в этом возрасте.
- Дальше все равно сплошная х...я.
- Миньон не появился?
- ...твою мать.
- Посмотри-ка на эту!

Дивин, которая не любила, чтобы ходили у нее над головой, жила на последнем этаже солидного дома, в приличном квартале. У входа в этот дом и барахталась, тихонько переговариваясь, вся эта толпа.

С минуты на минуту должен был подъехать катафалк, запряженный, возможно, черной лошадью, чтобы забрать останки Дивин и перевезти их сначала в церковь, а потом, совсем близко отсюда, на маленькое кладбище Монмартра, куда вход был с авеню Рошель.

Подошел Всевышний, вроде бы сутенер. Болтовня стихла. С непокрытой головой, элегантный, улыбающийся, легкий и ладный, появился Миньон-Золушка. Он был изящным и гибким, но в его походке чувствовалось тяжеловесное величие варвара, попирающего грязными сапогами дорогие меха. Торс восседал на бедрах, как король на троне. Стоило мне его мысленно представить, как левая рука через дырявый карман... И воспоминание о Миньоне останется со мной, пока будет длиться мой жест. Однажды дверь камеры открылась, и в проеме появился он. Мне показалось, я вижу его ровно мгновение, торжественного, как мертвец на параде, обрамленного – как драгоценный камень металлом – толщиной тюремной стены, какую вы и представить себе не можете. Он стоял передо мной такой грациозный, как если бы лежал, обнаженный, на маковом поле. В ту же секунду я уже принадлежал ему, как если бы (кто это сказал?) он излил мне в рот не только семя, но и всего себя, до самого сердца. Он вошел в меня так, что не осталось пространства для меня самого, так что я сам теперь путаю себя с гангстерами, грабителями, сутенерами, и полиция, тоже войдя в заблуждение, арестовывает меня. В течение трех месяцев он делал из моего тела праздник, истязая меня изо всех сил. Я валялся у его ног, а он попирает меня, как тряпку. С тех пор, как он, освободившись, вернулся к своим кражам, все его жесты представляются мне такими яркими, что через них он является, словно высеченный в граненом хрустале; такими яркими, что кажутся произвольными, безотчетными, мне невозможно представить, что они – плод тяжких размышлений и волевого решения. От него, такого осязаемого, мне остался, увы, лишь гипсовый слепок его напряженно-гигантского члена, который сделала Дивин. А более всего в нем восхищает мощь, то есть красота, этой части тела – от ануса до кончика пениса.

Еще скажу, что у него были пальцы ювелира и что при каждом пробуждении его распахнутые, готовые принять Вселенную, руки делали его похожим на младенца Иисуса в яслях (и пятка одной ноги лежала на щиколотке другой); что его внимательное лицо раскрывалось, запрокинутое в небо; что он, со сложенными по-особому руками, походил на

Нижинского на старых фотографиях, где тот одет лепестками роз. Его гибкое, как у скрипача, запястье безвольно свисает, изогнувшись. А порой он вдруг сжимает себе горло выразительной, как у актрисы, рукой.

Вот почти точный портрет Миньона, потому что – мы это еще увидим – он был гением жеста, который волнует меня и будет волновать до тех пор, пока не устанет наслаждаться рука.

Он шел к смерти, как канатоходец идет над бездной. Ловкач, мошенник, плут. Пока он шел – и это становилось понятно по едва заметному колебанию торса – все эти Монсеньеры, многочисленные Мимозы, Кастаньет, словом все тайно, в глубине души примеряли на свои тела его движения, ввинчивались, как буравчик, прикипали к этому красавцу, обвивались вокруг него. Он проществовал, решительный и невозмутимый, словно нож на скотобойне, разрезая каждую из них на две половинки, которые затем вновь соединялись, бесшумно, но распространяя легкий аромат отчаяния, которого невозможно спутать ни с чем. Миньон, перескакивая через две ступени, поднялся по лестнице, это было восхождение уверенное, свободное, он мог, добравшись до крыши, пойти дальше и выше, по ступеням голубого воздуха, и так до неба. В мансарде, уже не такой таинственной с тех пор, как смерть превратила ее в склеп (она утратила двойственность, обрета, со всей своей чистотой, эту наивную непоследовательность, какую придавали чудесные погребальные предметы: белые перчатки, фонарик, куртка артиллериста, словом, все, что мы перечислим впоследствии), одна лишь мать Дивин, Эрнестина, тяжело вздыхала под своей траурной вуалью. Она уже старая. Наконец-то она обрела эту чудесную, столь давно ожидаемую возможность. Смерть Дивин позволяет ей освободиться от сотни великих ролей, которые она исполняла с блеском, обрести свободу через внешние проявления отчаяния, через видимую сторону траура: слезы, цветы, креп. Подобная возможность ускользнула от нее во время болезни Дивин, когда он был еще деревенским мальчиком и звался Луи Кулафруа. Лежа на постели, он разглядывал комнату, в которой ангел (это слово в очередной раз меня притягивает и вызывает отвращение. Если у них есть крылья, значит, есть и зубы? Как они летают на этих крыльях, таких тяжелых, покрытых перьями, «этих таинственных крыльях»? Окутанные этим чудом: своим ангельским именем, кстати, меняют ли они его, если падают?), ангел, солдат, одетый в светло-голубое, и негр (неужели хоть когда-нибудь мои книги перестанут быть лишь предлогом, чтобы показать солдата, одетого в лазурную форму, ангела и негра, соединенных узами братства, играющих в домино или кости в тюремной камере, мрачной или светлой?) являли собой тайное сборище, куда он сам не был допущен. Ангел, негр и солдат по очереди надевали лица его школьных приятелей или крестьян, но никогда – лицо Альберто, ловца змей. А ведь именно его ждал Кулафруа в своей пустыне, чтобы успокоить знойную жажду устьем влажной плоти. Чтобы утешиться в этом горе, он пытался, несмотря на юный возраст, распознать, каким окажется счастье, отыскать его там, где не было ничего пленительного, в пустом, унылом, скорбном поле, может быть, лазурном или песчаном поле, а может, сухом, бессловесном магнитном поле, безрадостном, бесцветном, беззвучном. А гораздо раньше на деревенской дороге возникло видение новобрачной, одетой в черное платье, но в белой фате, сияющей, как юный пастух, окутанный инеем, как мельник, усыпанный белой мукой, или как Богоматерь цветов, Нотр-Дам-де-Флёр, с которым он познакомится позднее и которого я сам увидел здесь, в моей камере возле параша, однажды утром – его заспанное лицо, розовое под мыльной пеной и угрюмое, – это видение открыло Кулафруа, что поэзия это не просто сладенькая мелодия, потому что тюль фаты ниспадал неровными, четкими, ледяными складками. Это было предостережение.

Он ждал Альберто, а тот все не приходил. Но каждый входящий крестьян или крестьянка имели при себе что-то от змеелова. Они были его предвестники, посланники, предтечи, и каждый нес перед собой какой-либо из его даров, предвосхищая его появление, про-

кладывая ему путь. Они кричали аллилуйя. У одного была его походка, у другого его жест, или цвет штанов, или его вельветовая куртка, или голос Альберто; и Кулафруа, как всякий ждущий, не сомневался, что в конце концов все эти разрозненные куски мозаики окажутся подогнанными один к другому и позволят некоему воссозданному заново Альберто торжественно появиться в его спальне, как появился в моей камере Миньон-Золушка, мертвый и живой.

Когда деревенский священник, пришедший осведомиться о нем, сказал Эрнестине: «Мадам, это же счастье – умереть молодым», она ответила: «Да, господин герцог» – и присела в реверансе.

Священник посмотрел на нее.

Она улыбалась своему отражению-антиподу на блестящем паркете, которое делало из нее королеву пик.

– Не пожимайте плечами, друг мой, я не сошла с ума.

И она действительно была в полном здравии.

– Лу Кулафруа скоро умрет. Я это чувствую. Он умрет, я знаю.

«Он умрет, я знаю» – это было выражение, выхваченное целиком из одной книги, и кровоточащее, как крылышко воробья (или ангела, если кровь у него тоже алая), его с ужасом в голосе произносила героиня дешевого романа, напечатанного мелким шрифтом на ноздреватой бумаге; кровоточащее, как совесть, добавим мы, этих мерзких господ, что совращают детей.

– Я танцую под музыку похоронного марша.

Итак, ему нужно было умереть. А чтобы пафос этого события стал еще явственней, она сама должна была сделаться причиной его смерти. Здесь, не правда ли, мораль ни при чем, как ни при чем здесь и страх тюрьмы, и боязнь ада. Весь механизм драмы был подробно представлен в голове Эрнестины, а значит, и в моей. Она должна была изобразить все как самоубийство. «Я скажу, что он покончил с собой». Логика Эрнестины, логика театральной пьесы, не имела никакого отношения к тому, что принято именовать правдоподобием, поскольку правдоподобие предполагает наличие мотивов. Не будем удивляться, будем восхищаться.

Огромный револьвер в ящике стола подсказал ей, как следует действовать. Часто случается, что именно вещи подстрекают к действию и должны одни нести ужасную, хотя и косвенную, ответственность за преступление. Этот револьвер стал, похоже, необходимым аксессуаром ее поступка. Он явился продолжением вытянутой руки героини, он преследовал ее – и это следует отметить – решительно и неотступно, так что пылали щеки, как мясистые ладони Альберто, оттопыривающие карманы, неотступно преследовали деревенских девушек. Но я сам соглашусь стрелять лишь в нежного подростка, чтобы после смерти остался еще теплый труп и призрак, который так сладостно обнимать, так и Эрнестина готова была убить, но желала избежать ужасной картины, которая здесь, на этом свете, неминуемо стала бы ее терзать (конвульсии, упрек в потрясенных глазах ребенка, брызги крови и мозга), а еще ужаса потустороннего, ангельского мира, а возможно, для того, чтобы придать мгновению больше торжественности, она надела все свои украшения. Так и я когда-то делал себе уколы кокаина хрустальной иглой в форме пробки для графина, а на указательный палец надевал кольцо с крупным бриллиантом. Действуя таким образом, она и не догадывалась, что обостряет значимость своего жеста, превращая его в нечто исключительное, что способно потрясти все основы. Так и произошло. Благодаря некоему эффекту смещения спальня постепенно стала превращаться в роскошную квартиру, всю в позолоте, со стенами, затянутыми алым бархатом, с массивной мебелью, несколько приглушенную портьерами из шелкового фая, с большими гранеными зеркалами, украшенную светильниками с хрустальными подвесками.

С потолка – и это весьма важная подробность – свисала огромная люстра. Пол был устлан ковром с длинным ворсом, фиолетовым с голубым.

Во время своего свадебного путешествия в Париж, с улицы, сквозь занавески на окнах, Эрнестина однажды вечером увидела такие апартаменты, теплые и прекрасные, и пока она шагала под руку с мужем, ей робко – пока еще очень робко – хотелось в один прекрасный день умереть здесь от любви (фенобарбитал и цветы) к рыцарю Тевтонского ордена. И даже потом, когда она уже умерла в ней пять-шесть раз, квартира все равно казалась достойной стать обрамлением драмы куда более значительной, чем ее собственная смерть.

Я все время усложняю, запутываю, вы говорите – это ребячество. Конечно, ребячество. Заключенные – это дети, и только дети такие изворотливые, хитрые, наивные и непоследовательные. «Хорошо бы, – подумала Эрнестина, – чтобы он умер в каком-нибудь роскошном городе, Каннах или Венеции, а я бы могла совершать туда паломничества время от времени».

Поехать в какой-нибудь «Ритц», омываемый Адриатикой, быть супругой или любовницей дожа, потом с охапками цветов карабкаться по крутой тропинке до кладбища, сесть на белый, слегка выпуклый камень могильной плиты и, завернувшись, как в кокон, в благоуханную скорбь, тихо убаюкивать себя.

Не возвращая ее в реальность, ведь она никогда и не покидала реальности, перестановка декораций заставила ее освободиться от грез. Она отправилась за револьвером, давно уже заряженным предусмотрительным Провидением, и когда сжала его в руке, тяжелый, словно вздыбленный фаллос, поняла, что беременна убийством, беременна смертью.

Вы ведь не можете знать это сверхчеловеческое, это сверхъясное состояние ослепленного убийцы, который держит нож, ружье или склянку с ядом, который уже начал движение по направлению к бездне.

Конечный жест Эрнестины должен был бы свершиться быстро, но ее, как, впрочем, и Кулафруа, ведет за собой текст, которого она не знает, текст, написанный мной, и развязка должна наступить в свой черед. Эрнестина осознает всю примитивную, литературную сторону своего поступка, но то, что она должна подчиняться дурной литературе, делает ее особенно уязвимой и в наших глазах, и в своих собственных. В этой драме, как и в жизни, она не желает выглядеть горделиво-прекрасной.

Любое умышленное убийство подчиняется некоему подготовительному ритуалу, а после свершения – ритуалу искупительному. Смысл как того, так и другого ускользает от понимания убийцы. Всему свое время. Эрнестина едва успела встать у порога пылающей спальни. Она выстрелила. Пуля пробила стеклянную рамку почетного диплома покойного мужа. Шум был оглушительным. Опоенный снотворными мальчик ничего не услышал. Эрнестина тоже: ведь она стреляла в квартире, затянутой алым бархатом, и пуля, разбив граненные зеркала, подвески, хрусталь, раскрошив мрамор, звезды, прорвав драпировку, сокрушив всю выдуманную конструкцию, обрушила на голову Эрнестины не алые брызги крови, а хрустальные подвески люстры и серый пепел.

Она пришла в себя среди обломков своей драмы. Ее руки, свободные от револьвера, который исчез под кроватью, как топор на дне пруда, как бродяга за городской стеной, ее руки, ставшие легче мыслей, порхали вокруг. С тех пор она ждет.

Такой ее и увидел Миньон, пьяную от трагедии. Он был смущен этим зрелищем, потому что она была красива и казалась безумной, но в большей степени потому, что она была красива. Он и сам был красив, так стоило ли ее бояться? Увы! Я слишком мало (или почти ничего) знаю о тайных отношениях между людьми, которые красивы и знают об этом, и совсем ничего не знаю об отношениях красивых мальчиков, которые кажутся на первый взгляд дружескими, но могут сочиться ненавистью. Если они просто, безотчетно улыбаются друг другу, есть ли нежность в их улыбке и что они при этом чувствуют? Миньон неловко

перекрестил гроб. Его смущение могло показаться безучастностью, но столько очарования было в этом смущении.

Смерть поставила свою метку, тяжелую, как свинцовая печать внизу пергамента, на шторы, на стены, на ковры. Особенно на шторы. Они такие чувствительные. Они чувствуют смерть и пытаются высказать ее, как собаки. Они облаивают смерть через все складки, которые расправляются, темные и сумрачные, как рот и глаза масок Софокла, или выпячиваются, как веки христианских аскетов. Ставни были закрыты, а свечи зажжены. Миньон больше не узнавал мансарды, в которой когда-то жил с Дивин, он смущался, как случайно зашедший гость.

Что чувствовал он у гроба? Ничего. О Дивин он больше не вспоминал.

Появившиеся почти тотчас же служащие похоронного бюро вывели его из затруднительного положения.

Это траурное шествие разрисованных лиц, издававшее запахи румян и цветов, следовало под дождем за катафалком. Круглые плоские зонтики, колыхаясь над бредущей процессией, позволяли ей парить между небом и землей. Прохожие ничего не увидели, потому что она, такая легкая, висела в десяти метрах над землей; ее могли бы заметить только горничные и слуги, если бы как раз в это самое время, в десять часов утра, первые не подавали шоколад своим хозяйкам, а вторые не открывали двери ранним посетителям. Впрочем, процессия передвигалась так быстро, что казалась невидимой. На осях катафалка трепетали крылья. Первым, распевая *deus irae*, под дождь вышел священник. Он приподнимал полы сутаны, как учили его это делать в семинарии в плохую погоду, и благодаря этому произвольному жесту из его благородства, словно из плаценты, появлялись на свет один за другим тайные, печальные существа. Полой этого черного бархатного облачения (из такого же бархата были сделаны полумаски Фантомаса и жен дождей) он пытался укрыться, но тут земля сама выскользнула у него из-под ног, и мы еще увидим, в какую западню он сам себя загнал. Сдвинулась ткань, приоткрывая нижнюю часть его лица. Оказывается, этот священник был совсем юным, под его похоронным церковным облачением угадывалось трепещущее тело атлета. Иными словами, на нем была чужая одежда.

В церкви, поскольку вся заупокойная служба сводилась к «Сие творите в мое воспоминание», он, приблизившись крадучись к алтарю, отпер замок дарохранительницы, отодвинул покрывало, как в полночь отодвигают двойной полог алькова, задержал дыхание, схватил дароносицу с осторожностью орудующего без перчаток вора и, разломив, проглотил подозрительного вида просфору.

Дорога из церкви к кладбищу была долгой, а текст требы слишком знакомым. И только погребальная песнь и черное, вышитое серебром облачение чаровали и околдовывали. Священник шествовал по грязи, как по лесным зарослям. Какого леса? – спрашивал себя он. Какого-нибудь леса в чужой стране, например, в Богемии. Или в Венгрии. Без сомнения, эту страну он выбрал, руководствуясь тем ценным предположением, что венгры – единственные азиаты в Европе. Гунны. Аттила сжигает траву, его солдаты, сжав между мощными, огромными – как у Альберто, Миньона, Горги, и даже больше, – бедрами и лошадиными боками, согревают сырое мясо, которое они потом съедят. Осень. В венгерском лесу идет дождь.

Каждая ветка, которую отодвигает священник, орошает его лоб. Слышен лишь стук капель о мокрые листья. Сейчас вечер, поэтому в лесу все тревожнее. Священник плотнее натягивает на роскошный торс серый плащ.

В лесу есть лесопилка: два молодых человека работают на ней и заодно охотятся. В этих краях они чужие. Они – и священнику это известно, как становятся известны во сне, безо всякого объяснения и логики, многие вещи, – вернулись из кругосветного путешествия. Аббат читал заупокойную молитву, когда встретил одного из этих чужаков, того, что помоложе, у которого было лицо мясника из моей деревни. Он возвращался с охоты. В уголке рта

погасший окурок. От слова «окурок» и запаха табака позвоночник священника напрягается, отклоняется назад тремя сухими резкими толчками, от них пробегает вибрация по всем его мышцам и до самой последней, которая содрогается и изливается созвездием спермы.

Губы лесоруба прижимаются к его рту, и движением языка, величественно-надменным, как королевский указ, проталкивают в него окурок. Священник был потрясен, сражен, он истекал любовью на набухший влагой мох. Сорвав с него почти всю одежду, чужак стал ласкать его, благодарного, растроганного, так представлял себе священник; потом, поведя плечом, он пристроил на место свой ягдташ, поднял ружье и ушел, насвистывая какую-то хулиганскую мелодию.

Священник огибал усыпальницы, парни спотыкались о надгробные камни, мочили ноги о влажную траву и среди могил казались похожими на ангелов. Мальчик из церковного хора, тщедушный и жалкий, который и не догадывался о том, что только что довелось пережить священнику, спросил у него, можно ли не снимать скуфью. Тот ответил, что да, можно. На ходу он, держа руку в кармане, сделал ногой особое танцевальное движение, которым заканчивают танго. Он присел на ногу, слегка выставленную вперед на носок, поддев коленом ткань сутаны, которая болталась, как расширяющийся конец штанов у матроса или южноамериканского пастуха при ходьбе. И затынул псалом.

Когда кортеж остановился у ямы, заранее вырытой могильщиком, возможно, тем самым, которого Дивин видела из окна, туда опустили гроб с трупом усопшей, закутанной в белый гипюр. Священник благословил могилу и передал кропило Миньону, который покраснел, чувствуя его тяжесть (ибо он после ухода Дивин снова немного приблизился к своей расе, ведь он из породы молодых цыган, которые доставляют вам удовольствие пальцами ног), потом «девочкам», и все вокруг потонуло в криках и радостном смехе. Дивин ушла, как и мечтала, подчинясь романтической прихоти и больному воображению.

Дивин мертва, мертва и похоронена...

...мертва и похоронена.

Раз уж Дивин мертва, поэт может ее воспеть, воспеть ее легенду, Сагу, голос Дивин. Дивин-Сага должна быть протанцована, изображена мимикой, с тончайшими нюансами. Невозможность изобразить ее средствами балета заставляет меня пользоваться тяжеловесными словесами, чтобы создать нужное представление, но я попытаюсь избежать выражений банальных, пустых, полых, безликих.

Что я хочу, приступая к этому рассказу? Восстанавливая свою жизнь, пытаюсь вновь попасть в ее течение, наполнить свою камеру радостью и стать тем, кем — не хватило всего лишь пустяка — у меня стать не получилось, вновь обрести — бросившись туда, как бросаются в черные дыры — эти мгновения, где я блуждал по лабиринтам подземного неба. Медленно перемещать пространства зловонного воздуха, перерезать нити, на которых болтаются чувства в форме букетов, увидеть, как из неведомо какой реки, полной звезд, вдруг появляется этот цыган, которого я ищу, промокший, с волосами-водорослями, играющий на скрипке, хитро спрятавшийся за портьерой из алого бархата какого-то ночного кабаре.

Я буду рассказывать вам о Дивин, смешивая, по настроению, мужской и женский род, и если мне случится в рассказе вдруг заговорить о какой-нибудь женщине, я справлюсь, я найду выход, я постараюсь сделать так, чтобы не было путаницы.

Дивин появилась в Париже лет за двадцать до смерти. Она была тогда тоненькой и стремительной, какой и останется до конца своей жизни, пусть и превратившись в угловатую женщину-мальчика. Около двух часов ночи она вошла в заведение Граффа на Монмартре. Посетители были еще грязной, бесформенной глиной. Дивин — прозрачной, чистой водой. В просторное, утонувшее в сигаретном дыму кафе с закрытыми окнами, со шторами, натянутыми на полые металлические карнизы, она принесла свежесть скандала, это была свежесть утреннего ветра, удивительная мягкость шелеста сандалий о камни храма, и подобно тому,

как ветер заставляет кружить листву, она кружила головы, внезапно сделавшиеся совсем легкими (безумные головы), головы банкиров, торговцев, альфонсов, холостяков, управляющих, полковников, огородных чучел.

Она села за стол одна и заказала чай.

– Хорошо бы китайского, мой милый, – сказала она.

Улыбалась. Для клиентов у нее имелась возбуждающая бахвальская улыбка. Так об этом говорили, покачивая головой. Для поэта и для читателя ее улыбка пусть будет загадочной.

В тот вечер она была одета в шелковую золотистую блузку, синие брюки, явно украденные у какого-то матроса, на ногах кожаные сандалии. На пальце, кажется, на мизинце, незаживающей язвой алел какой-то камень. Когда принесли чай, она стала пить его, как у себя дома, маленькими глотками (простушка), оттопырив мизинчик, аккуратно ставя чашку на столик после каждого глотка. Вот ее портрет: выющиеся каштановые волосы, завитки падают на глаза и щеки, как будто на голове у нее многохвостая кошка. Лоб выпуклый и гладкий. В глазах отчаяние, но они все равно поют, и мелодия перетекает из глаз в рот, полный острых зубов, и от зубов – ко всем ее жестам, к едва заметным движениям, и вновь выплескивается через глаза, и это очарование волнами проходит по всему ее телу, до босых ног. Чувствительное тело. Ноги могут быть очень проворными, когда спасаются от призраков, на пятках от ужаса вырастают крылья. Она очень ловка, ведь чтобы уйти от погони, сбить призрак со следа, нужно мчаться быстрее мысли. Она пила чай под взглядами тридцати пар глаз, опровергающих все, что произносили презрительные рты, раздосадованные, удрученные, увядшие.

Дивин была грациозна и в то же время похожа на ярмарочного гуляку, искательницу редких впечатлений, изысканных зрелищ, невозмутимого игрока, на всех тех, кто шатается в поисках приключений по балаганам городка аттракционов. От малейшего их жеста, затягивают ли они узел галстука, стряхивают сигаретный пепел, приходят в движение игральные автоматы. Дивин воздействовала на уровне сонных артерий. Она была неумолимо оболстительна. Если бы это зависело только от меня, я бы сделал из нее рокового героя, как я люблю. Роковой – это тот, кто решает судьбы других, когда те в оцепенении разглядывают его. Я бы сделал героя с твердокаменными бедрами, гладкими плоскими щеками, тяжелыми веками, коленями языческих богов, такими прекрасными, что в них отражалось бы отчаяние мудрого лица мистика. Я бы лишил ее чувственной привлекательности. Чтобы она согласилась стать заледеневшей статуей. Но я прекрасно понимаю, что несчастный Демиург обречен создавать творение по своему подобию и что Люцифера он сделать не смог. В камере моя дрожь постепенно передается граниту, так нужно. Ведь я надолго останусь с ним лишь наедине, я заставлю его дышать моим дыханием и запахом моих кишечных газов, торжественных и сладких. И это будет длиться, пока не кончится моя книга, пока я не выведу ее из оледенелого оцепенения, не передам все свои страдания, пока постепенно не освобожу от зла и, держа за руку, поведу к святости.

Официант, который ее обслуживал, хотел было ухмыльнуться, но не решился, ему было стыдно. Что до управляющего, он подошел к ее столику и решил, что, когда она допьет свой чай, он попросит ее уйти, даст понять, что больше сюда ей приходить не стоит.

Наконец она промокнула белоснежный лоб цветастым платком. Потом скрестила ноги: на лодыжке звякнула цепочка с замком-медальоном, в таких, как известно, хранят прядь волос. Она улыбнулась всем поочередно, и каждый в ответ отвернулся, это и был их ответ. В кафе стояла такая тишина, что отчетливо слышался малейший шум. Всем посетителям показалось, что ее улыбка (для полковника: улыбка гомика; для торговца: кривляки; для банкира и официантов: шлюхи; для котов: «этой») была омерзительна. Дивин настаивать не стала. Из крошечного кошелька с атласными отделениями она достала несколько монет и молча

положила на мраморный столик. Кафе исчезло, и Дивин преобразилась в одну из зверушек, которых любят малевать на городских стенах – химеры или грифоны, потому что один из посетителей нечаянно пробормотал магическое слово, думая о ней:

– Педик.

В тот вечер она впервые искала на Монмартре клиентов. Не вышло. Она явилась к нам без предупреждения; заведущая кафе не успели, а главное, им не достало хладнокровия позаботиться о своей репутации и своей самке. Допив чай, Дивин с равнодушным видом (так, по крайней мере, казалось) исчезла, извиваясь меж цветочных стеблей и шелестя чешуйками невидимых оборок. И вот она, решившая возвратиться снова, вознесенная столбами дыма, вот она в мансарде, на двери которой приколочена огромная роза из полинявшей кисеи.

Ей нравились духи с резким и вульгарным запахом. Уже по одному этому аромату становится понятно, что она любит вульгарное. У Дивин безупречный вкус, прекрасный вкус, поэтому особенно неприятно, что ее, такую утонченную, жизнь постоянно искушает вульгарностью, заставляя соприкасаться с мерзостью и грязью. Но она бережно холит свою вульгарность, потому что ее самой большой любовью был цыган со смуглой кожей. На нем, под ним, когда он пел ей, прикинув рот к ее рту, свои цыганские песни, что пронизывали все ее тело, она научилась ценить очарование таких вульгарных тканей, как шелк или золотистый басон, которые так идут распутным существам. Монмартр пылал. Дивин прошла насквозь через его разноцветные огни, затем, целая и невредимая, вернулась с холма в ночь бульвара Клиши, в ночь, которая так снисходительна к несчастным старым и уродливым лицам. Было три часа ночи. Она немного прошла в сторону площади Пигаль. Она смотрела с улыбкой на каждого одинокого мужчину. Но те не осмеливались, или, вернее, она сама ничего не знала об обычных уловках: клиент оборачивается, колеблется в нерешительности, теряет уверенность, приближаясь к желанному мальчику. Она устала, присела на скамейку и, несмотря на всю свою усталость, была покорена, упоена теплотой ночи; она отдалась ритмам биения собственного сердца и выразила свое смятение так: «Ночи, эти страстные наложницы султанов, без ума от меня. Они, боже мой, строят мне глазки. О! наматывают пряди моих волос на пальцы (пальцы ночей, мужские члены!). Они гладят меня по щеке, ласкают ягодицы». Она предавалась размышлениям, не возносясь – или не погружаясь – в поэзию, сотканную из всего земного. Но никакая поэзия никогда не повлияет на ее состояние. Она всегда будет озабочена только наживой.

Порой по утрам мужчины одновременно с усталостью ощущают прилив нежности, от которой встает напряженный член. Мне случалось на заре от любви-ни-к-кому прилипать губами к ледяным перилам, а еще целовать свою руку, или еще, изнемогая от возбуждения, представлять, как я проглатываю себя целиком, вывернув свой непомерно распахнутый рот над собственной головой, так, чтобы туда вошло все тело и вся Вселенная, чтобы сделаться лишь комочком съеденной пищи, которая постепенно исчезает: так мне представляется конец света. Дивин предлагала себя ночи, чтобы та поглотила ее своей нежностью и больше не извергла обратно. Она голодна. Вокруг ничего. Туалетные кабинки пусты, бульвар необитаем. Только ватаги молодых рабочих, чье смятенное отрочество пульсирует плохо завязанными шнурками на подъеме ноги, форсированным маршем возвращаются с увеселений к себе домой. Их пиджаки, вызывающе приталенные, похожие на латы или хрупкий панцирь, защищают наивность их юных тел, но из-за своей мужественности, еще невинной и едва угадываемой, как надежда, для Дивин они неприкасаемы.

Этой ночью не произойдет ничего. Ее появление было столь неожиданно, что потенциальные клиенты еще не успели опомниться. И только голод в животе и сердце заставит ее вернуться к себе в мансарду. Она поднялась, собираясь уходить. Пошатываясь, к ней направлялся мужчина. Он задел ее локтем.

– О, простите, – сказал он, – простите меня!

От него разило вином.

– Ничего, – ответила она.

Это прошел Миньон-Золушка.

Приметы Миньона: рост 1 метр 75, вес 75, лицо овальное, волосы светлые, глаза сине-зеленые, кожа смуглая, зубы ровные, нос прямой.

Он был тоже молод, почти так же молод, как и Дивин, и мне хотелось бы, чтобы он оставался таким до конца книги. Каждый день охранники открывают дверь моей камеры, чтобы я смог выйти во внутренний двор подышать воздухом. За несколько секунд в коридорах и на лестнице я сталкиваюсь с ворами, взломщиками, чьи лица проникают в мое лицо, чьи тела, даже издали, лишают сил мое тело. Я страстно желаю, чтобы они оказались рядом, и все же ни одно из них не может вызвать в воспоминаниях образ Миньона-Золушки.

Когда я познакомился с Дивин в тюрьме Френ, она много рассказывала мне о нем, выискивая по закоулкам тюрьмы память о нем, следы его шагов, но мне так и не удалось с точностью представить его лицо, и сейчас мне даруется соблазнительная возможность придать ему в воображении лицо и тело Роже.

От этого корсиканца в памяти у меня сохранилось немного: рука со слишком крупным большим пальцем, на котором он вертит маленький полый ключик, и смутный образ светловолосого мальчика, идущего по марсельскому бульвару Канебьер, цепочка, наверняка золотая, которая скользит по ширинке, застегивая ее. Он из компании самцов, которые надвигаются на меня неумолимо и грозно, как бредущие стволы деревьев. Отсюда уносятся мои мечтания, в которых я представляю, что его зовут Роже, имя «мальчишечье» и в то же время солидное, самоуверенное. Роже был самоуверенным. Я только что освободился из тюрьмы Шав и изумлялся тому, что его там не встретил. Что мог я совершить, чтобы оказаться достойным его красоты? Мне нужна была отвага, чтобы просто любоваться им. Денег не было, я ночевал в самых темных закоулках доков и каждый вечер уносил его с собой. Память о нем оставляла в памяти – моей памяти – место для других мужчин. После двух дней этой новой жизни в моих мечтаниях я уже соединяю его жизнь (придуманную) со своей жизнью. Я хотел бы, чтобы он любил меня, и он, разумеется, любил с той искренностью, которая – как иначе он мог бы меня любить – должна была быть порочной. Два дня подряд я вскармливал его образом мечты, которая обычно пресыщается через четыре-пять часов, когда я отдаю ей на съедение мальчика, как бы красив он ни был. Теперь же я не в силах больше придумать ничего, никаких условий и обстоятельств, при которых он смог бы любить меня сильнее. Я измучен выдуманными путешествиями, кражами, изнасилованиями, грабежами, отравлениями, предательствами, когда мы действовали слитно, соединившись один с другим, когда один действовал через другого, для другого и никогда – через или для себя самого, когда пережитое приключение было нами и только нами. Я истощен; запястья сводит судорогами. Наслаждение излилось до последней капли, источник высох. За два этих дня меж четырех голых стен я прожил с ним, через него все возможности двадцать раз повторенного существования, запутанного и затемненного до такой степени, что кажется более реальным, чем реальное существование. Я отказался от мечты. Меня отлюбили. Я отказался, как отказывается от соревнования, сходит с дистанции гонщик Тур де Франс, но воспоминания о его глазах, об их усталом взгляде, который направлен – я прослеживаю этот взгляд – на лицо другого юнца, выходящего из борделя, его круглые колени, мощный жезл, такой твердый, что мне хочется сказать, будто он узловатый, как корень дерева, а еще его лицо, только и заметное под покрывалом, словно просящее пристанища, как странствующий рыцарь, воспоминания обо всем этом не желают исчезнуть, как обычно исчезают воспоминания о моих приятелях, живущих лишь в мечтах. Они остаются и витают в воздухе. Они не такие четкие, как

в самый момент наших приключений, но они не отпускают меня. Некоторые подробности упорствуют и не желают исчезать: этот маленький полый ключик, через который он иногда свистит, его большой палец, его свитер, его синие глаза. Если я буду настойчив, он появится и овладеет мной так, что на теле останутся стигматы. Я не могу больше этого выносить. Я сделаю из него персонажа, которого смогу терзать и мучить сам: это Миньон-Золушка. Я, так и быть, оставлю его двадцатилетним, хотя его судьба – стать отцом и возлюбленным Нотр-Дам-де-Флёр.

Дивин он сказал:

– Извините!

Плавающая в винных парах, Миньон не заметил странности этого прохожего, его вызывающей любезности:

– Ну что, малыш?

Дивин остановилась. Завязался игривый и опасный разговор, после чего все пошло, как он и хотел. Дивин привела Миньона к себе, на улицу Коленкур. В ту самую мансарду, где она умерла, откуда, как море под ногами матроса на грот-марсе, простиралось кладбище с его могилами. Поющие кипарисы. Дремлющие призраки. Каждое утро Дивин будет вытряхивать в окно пыльную тряпку и прощаться с призраками. Однажды в бинокль она разглядит молодого могильщика. «Простите ради бога, – крикнет она, – там, на одной могиле стоит бутылка вина!» Могильщик состарится с ней и похоронит ее, так ничего и не узнав о ней.

Итак, она поднялась вместе с Миньоном. Затем в мансарде, закрыв дверь, стала его раздевать. Без брюк, пиджака и рубашки он оказался белоснежным и вялым, как сошедшая лавина. Вечером они очнулись, сплетаясь во влажных, измятых простынях.

– Какие деньги, ты о чем?! Говорю тебе, дурачок, вчера я был под таким кайфом, ничего не соображал!

Он принужденно смеялся и оглядывался. Это была комнатка под самой крышей. На полу у Дивин были расстелены истертые ковры, а на стене приклеены фотографии убийц, такие же, как у меня в камере, а еще необычные фотографии красивых мальчиков, которые она утащила с витрин фотоателье, на их лицах – все признаки власти тьмы.

– Прямо выставка!

Достаточно было тюбика фенотарбита на каминной полке, на раскрашенном деревянном кораблике, и комната стала отделяться от монолитной каменной глыбы, какую являло собой все здание, и, словно клетка, повисла между небом и землей.

По тому, как Миньон говорит, зажигает и раскуривает сигарету, Дивин поняла, что он из сутенеров. Поначалу она немного опасалась, что ее побьют, обворуют, оскорбят. Потом почувствовала гордость, что от нее тащится кот. И, не понимая до конца, что сулит ей это приключение, или нет, скорее добровольно, совсем, как птичка, прыгающая в змеиную пасть, она очарованно произнесла: «Оставайся» – и добавила нерешительно:

– Если хочешь.

– Нет, без дураков, ты запала на меня?

Миньон остался.

В эту просторную монмартрскую мансарду, где в окошко между муслиновыми розовыми оборками – ее собственное рукоделие – Дивин видит, как по волнам синего спокойного моря плывут белые колыбельки, так близко, что можно различить даже цветы, из которых выделяется изогнутый в танце стебелек, Миньон вскоре принесет свой синий комбинезон, в котором по ночам ходил на дело, связку отмычек, инструменты и на маленькую кучку сложенных на полу вещей сверху водрузит белые резиновые перчатки, похожие на парадные. Так началась их жизнь вдвоем, в этой комнатке со спутанными проводами ворованного радиатора, ворованного радиоприемника, ворованных ламп.

Завтракать они садятся во второй половине дня. Днем спят, слушают радио. Ближе к вечеру накладывают макияж и выходят из дому. Ночью, по обыкновению, Дивин вкалывает на площади Бланш, а Миньон отправляется в кино. Долгое время Дивин будет способствовать удаче. Пользуясь советами Миньона и его покровительством, она будет знать, кого обобрать, кого шантажировать. А поскольку кокаиновая туманность окутывает их существование, в котором плавают контуры их тел, то сами они неуловимы.

У бродяги и хулигана Миньона открытое и ясное лицо. Красивый самец, жестокий и нежный, он родился, чтобы стать сутенером, котом с такими благородными манерами, что всегда казался обнаженным, если бы не смешное движение, которое меня умиляло: выгибая спину, стоял сперва на одной ноге, затем на другой, снимая брюки и кальсоны. Окрещен, а еще причислен к лику блаженных, почти канонизирован Миньон был еще до рождения, в горячем материнском животе. Над ним свершили нечто вроде фиктивного крещения, благодаря которому после смерти он должен был отправиться в лимб; в общем, это был один из тех коротких, но загадочных, даже трагических обрядов, которые проводятся, роскошные и пышные, в этом закрытом сообществе, когда вызываются Ангелы и приглашаются божественные силы и само Божество. Миньон знает это, но знает нетвердо, то есть за всю его жизнь ему никто не сказал об этом внятно и отчетливо, похоже, ему просто нашептали эти тайны. И это малое крещение, с которого началась его жизнь, на протяжении всей этой жизни осеняет ее, окутывает мягким, едва заметным ореолом, слегка светящимся, словно созидая для этой сутенерской жизни нечто вроде украшенного гирляндами цоколя или овитого плющом девичьего гроба, монументального и невесомого пьедестала, с вершины которого Миньон с пятнадцати лет писает в такой позе: ноги расставлены, колени слегка согнуты, и струи особенно упруги, как только бывает в этом возрасте. Ибо, и мы настаиваем на этом, мягкое сияние по-прежнему оберегает его от слишком жесткого соприкосновения с его собственными острыми углами. Если он произносит: «Я выронил жемчужину» или «Жемчужина упала», это значит, он пукнул, причем тихонько, бесшумно. На самом деле он имеет в виду жемчужину с матовым отливом: это истечение, это истекание под сурдинку представляется нам молочно-бледным, как жемчужина, и таким же приглушенно-матовым. Миньон предстает перед нами манерным жиголом, индусом, принцессой, любительницей жемчуга. Аромат, который он испускает бесшумно в тюремной камере, такой же приглушенно-матовый, как жемчужина, он обвивает его, окружает ореолом с головы до ног, отделяет и выделяет из всех, но все же выделяет не так сильно, как то самое выражение, которым он не боится опорочить свою красоту. «Я выронил жемчужину» как раз и означает, что он пукнул бесшумно. Шум – это грубо, и если так пукает какой-нибудь бродяга, Миньон говорит:

– Землетрясение в заднице.

Чудесным образом, магией своей высокой и чистой красоты Миньон воскрешает саванну и погружает нас в самое сердце черного континента более явственно и более властно (так, по крайней мере, представляется мне), чем это сделал бы какой-нибудь чернокожий убийца. Миньон добавляет:

– Как воняет, уйду-ка я подальше от себя...

Свое бесчестье он несет гордо, как стигмат от раскаленного железа, приложенного прямо к коже, но этот драгоценный стигмат его возвышает и облагораживает, как некогда цветок лилии на плече вора. Подбитого глаза коты обычно стыдятся, но только не Миньон.

– Мои букеты фиалок, – говорит он.

А еще он говорит, когда подпирает в кишечнике:

– Сейчас сигара губы подпалит.

Друзей у него совсем мало. Дивин своих теряет, а он продает копам. Дивин об этом еще ничего не знает: этот облик предателя, любящего предавать, он бережет для себя одного. В

то утро, когда Дивин встретила его, он как раз вышел из тюрьмы, где тянул срок – небольшой – за кражу и хранение краденого, после того, как хладнокровно сдал своих подельников, а заодно и прочих приятелей, которые таковыми не являлись.

Однажды вечером, освобождая его из полицейского участка, куда он попал в результате облавы, инспектор сказал ему: «А что, если нам договориться? Будешь работать на нас и считай – никаких проблем», и он ощутил, как вы бы сказали, именно вы, он ощутил постыдную слабость, и то, что она была именно постыдной, только усиливало ее приятность. Он попытался принять непринужденный вид:

– Рискованно.

Однако сам обратил внимание, что сказал это, понизив голос.

– Со мной можешь не бояться, говорю тебе, – ответил на это инспектор. – Каждый раз будешь иметь сто монет.

Миньон согласился. Ему нравилось продавать других, потому что это доказывало его бесчувственность. Сделать себя бесчувственным и бесчеловечным – это и мое подспудное желание. На первой странице вечерней газеты он все разглядывал фотографию морского лейтенанта, того самого, который был расстрелян за предательство. Миньон думал: «Красавчик! Братишка».

Его переполнял какой-то детский восторг: «Я такой лицемер!» Проходя по улице Данкур, хмельной от своего затаенного величия, как будто это было тайное, скрытое сокровище, хмельной от собственной низости (ведь она должна пьянить нас, если мы не хотим, чтобы она нам убивала), он бросил взгляд на витрину магазина, в которой увидел своего двойника-Миньона, излучающего сияние тайной гордыни, лопающегося от этой самой гордыни. Он увидел себя-Миньона, облаченного в костюм принца Уэльского, в мягкой шляпе набекрень, увидел монументальные плечи, которые он распрямил на ходу, желая быть похожим на Пьеро-дю-Топол, а Пьеро, как известно, распрямляет их, чтобы походить на Поло-ла-Ваш, а Поло – чтобы походить на Тьюли, и так далее – целая процессия величественных котов, суровых и безупречных, привела в конечном итоге к Миньону-Золушке, лицемеру, и, похоже, сведя с ними знакомство, похитив у них манеры и повадки, он их – как сказали бы вы – осквернил собственной низостью, и я хочу, чтобы он, к моей радости, был именно таким: браслет на запястье, галстук, мягкий и гибкий, как язык пламени, и необыкновенные башмаки, которые бывают только у котов – светло-желтые, тонкой кожи, остроносые. Постепенно, благодаря Дивин, Миньон сменил свою изношенную за несколько месяцев пребывания в камере одежду на элегантные костюмы из чистой шерсти и надушенное белье. Это превращение его самого восхитило, ведь он еще дитя-сутенер. Со старыми тряпками оказалась выброшена душа шалопада. Теперь он у себя в кармане чувствует – и ласкает ладонью – нет, не нож, а лучше, он чувствует рядом со своим напряженным членом револьвер 6/35. Но одеваются не только для себя, так и Миньон одевается для тюрьмы. При каждой новой покупке он предвидит, какое она произведет впечатление на его будущих приятелей в тюрьмах Френ или Санте. Как вы себе их представляете? Двое или трое крутых, которые, никогда прежде не видя его, все же признают в нем ровню, мужчины с непроницаемыми лицами протянут ему руки или на перекличке, а может, на прогулке издали бросят, почти не размыкая губ: «Привет, Миньон». Но остальные его приятели будут босяками, которым легко пустить пыль в глаза. Тюрьма похожа на Бога, такого же жестокого Бога-варвара, как и он, Которому он приносит на алтарь золотые часы, авторучки, кольца, шелковые платки, обувь. Он не так мечтает предстать во всем великолепии новых одеяний перед женщиной или поразить приятелей, с которыми встречается каждый день, как войти в камеру в шляпе, надвинутой на один глаз, в шелковой рубашке с распахнутым воротом (при обыске у него отняли галстук), в расстегнутом пальто-реглане. И несчастные заключенные уже смотрят на

него с почтением. Он возвышается, он господствует над ними одним фактом своего появления. «То-то они припухнут!» – подумал бы он, будь в силах выразить в мыслях свои желания.

Два тюремных срока его обработали так, что теперь весь остаток жизни он будет жить ради тюрьмы. Его судьба, таким образом, сформировалась, и он неотвратимо отдался ей, возможно, это началось в тот самый день, когда на странице какой-то библиотечной книги он разобрал эти каракули:

Не доверяйте:

Во-первых, Жану Клеману, кличка Гомик,

Во-вторых: Робберу Мартену, кличка Педик,

В-третьих: Роже Фальгу, кличка Тетя.

Гомик стучит Пти-Пре (отдел по борьбе с сутенерством),

Тетя – Ферьеру и Грандо,

Педик – Мальвуазену.

Лучший способ избежать страха – это отдаться ему. И он возжелал, возжелал почти сладострастно, чтобы среди этих имен появилось и его имя. И потом, я знаю, порой устаешь от этой напряженной, героической позы человека вне закона, и можно сговориться с полицией, чтобы вернуться в лоно тех, кого ограбили. Дивин ничего не знала об этой стороне жизни Миньона. Но знай она о ней, она бы полюбила его только сильнее, ибо для нее любовь была тождественна отчаянию. Они пьют чай, и Дивин знает, что глотает его, как голубь глотает чистую воду. Как пил бы его, если бы вообще способен был пить, Святой Дух в обличье голубя. Миньон, засунув руки в карманы, танцует яву. Если он ложится, Дивин льнет к нему.

Говоря о Миньоне, Дивин произносит, заламывая руки:

– Обожаю его. Когда вижу, как он лежит голый, мне хочется отслужить у него на груди обедню.

Миньон не сразу привык говорить с ней и о ней как о женщине. В конце концов, у него это стало получаться, но он по-прежнему не терпел, чтобы она разговаривала с ним, как с подружкой. Все-таки потом он справился и с этим, да так, что Дивин могла сказать о нем:

– Ты красивая, – и добавить: – Страшно красивая.

Благодаря удачным ночным и дневным похождениям Миньона в мансарде скопилось множество вещей: бутылки ликера, шелковые шейные платки, флаконы парфюма, поддельные драгоценности. Каждый новый предмет приносит в их комнату новую толику очарования, очарования мелкой кражи, быстрой, как молниеносный взгляд. Миньон ворует с витрин универмагов, из остановившихся у светофоров машин, он ворует у немногочисленных друзей, ворует везде, где может.

По воскресеньям они с Дивин ходят к мессе. В правой руке у Дивин молитвенник с золоченой застежкой.левой рукой в перчатке она придерживает воротник плаща. Они шагают, ничего не видя вокруг. Входят в церковь Мадлен и усаживаются среди богомольцев со всего мира. Они верят в епископов в золотых облачениях. Дивин в восторге от мессы. Там не происходит ничего сверхъестественного. Каждый жест священника ясен и понятен, у каждого свой точный смысл, его может сделать кто угодно. Когда во время освящения тот, кто совершает богослужение, соединяет два кусочка просфоры, края не срастаются, и когда он поднимает ее обеими руками, то не пытается заставить поверить в чудо. От этого Дивин пробирает дрожь.

Миньон молится так:

– Матерь наша, иже еси на небесах...

Иногда они причащаются у священника со злобной физиономией, который раздраженно сует им в рот просфору.

Миньон ходит к мессе еще и потому, что там все так пышно и великолепно.

Вернувшись в мансарду, они ласкают друг друга.

Дивин любит своего мужчину. Она печет ему пироги, намазывает маслом гренки. А еще она мечтает о нем, когда тот сидит в туалете. Она обожает его в любой позе и положении.

Ключ бесшумно открывает дверь, стена раздвигается, как разверзаются небеса, чтобы явить Человека, подобного тому, какого изобразил Микеланджело в Страшном суде. Закрыв дверь так осторожно, будто она стеклянная, Миньон бросает фетровую шляпу на диван, а окурок – куда попало, чаще всего попадает в потолок. Дивин устремляется к своему мужчине, прижимается к нему, льнет и обхватывает его; тот стоит сильный и неподвижный, как морская скала, в которую превратилось чудовище Андромеды.

Поскольку друзья избегают его, Миньон иногда приглашает Дивин в «Рокси». Там они играют в покер... Миньону нравится грациозный жест, которым вбрасывают кости. Еще он любит изящными пальцами, когда они крутят сигарету, снимают колпачок с ручки. Его не заботят ни секунды, ни минуты, ни часы. Его жизнь – тайное небо, населенное барменами, котами, гомосексуалистами, ночными красавицами, пиковыми дамами, но его жизнь – это и есть Небо. Он сибарит. Он знает все парижские кафе, где имеются туалеты с сиденьями.

– Чтобы просрать, мне нужно удобно сидеть, – говорит он.

Он может пройти несколько километров, бережно неся свой переполненный кишечник, который с важным видом опорожнит в туалетной кабинке, отделанной сиреневым кафелем, где-нибудь на вокзале Сен-Лазар.

Я не слишком много знаю о его происхождении. Дивин как-то сказала мне, как его зовут, что-то вроде Поль Гарсиа. Он, конечно же, родился в одном из этих кварталов, издающих запах экскрементов, которые, завернув в газетный клочок, выбрасывают из окон, где на каждом подоконнике стоит цветочный горшок.

Миньон!

Когда он встряхивает завитыми локонами, становятся видны золотые серьги в виде колец, которые когда-то, в старину, носили его предки, грабители с большой дороги. Если он носком туфли раскачивает низ брючины, это один в один взмах дамского башмачка, когда она, вальсируя, задевает волан юбки.

Так пара и живет, спокойно, без потрясений. Консьержка из каморки под лестницей наблюдает за их счастьем. Ближе к вечеру ангелы подметают комнату, убирают квартиру. Для Дивин ангелы – это деяния, что происходят без ее участия.

Как мне сладостно говорить о них! Легионы солдат, одетых в грубое французское сукно, синее или цвета морской волны, стуча обитыми железом башмаками, чеканят шаг по небесной лазури. Самолеты льют слезы. Весь мир гибнет от панического ужаса. Пять миллионов юных мужчин, говорящих на всех языках мира, будут убиты пушкой, которая напрягает свой эрегированный ствол и разряжается, выстреливая. Люди мрут, как мухи, и воздух наполнен благоуханием умирающей плоти. При гниении плоть излучает торжество. А мне, мне так хорошо предаваться здесь мечтаниям о прекрасных мертвецах – вчерашних, сегодняшних, завтрашних. Я мечтаю о целой мансарде возлюбленных. Здесь произошла первая крупная ссора, которая завершилась актом любви. Дивин рассказала мне о Миньоне вот что: однажды вечером он проснулся, но поленился открыть глаза. Он услышал, как приятель возится в комнате. И спросил:

– Что ты делаешь?

Мать Дивин, Эрнестина, каждую субботу «замачивалась», это означало, что она замачивала белье, потому Дивин отвечает:

– Я замачиваюсь.

Там, где жил в детстве Миньон, никаких ванн не было, его купали в баке для кипячения белья. Сегодня или в другой какой-нибудь день, но мне кажется, что именно сегодня, во сне он сел в такой бак. Заниматься анализом он не умеет и не собирается этого делать, но у

него хороший слух, он слышит, как скрипит колесо судьбы, для него это театральный фокус. Когда Дивин отвечает: «Я замачиваюсь», ему кажется, что она играет в стирку, как играют «в поезд». У него встает, ведь ему кажется, что во сне он входит в Дивин. Член из его сна проникает в Дивин из сна Дивин, он обладает ею, это своего рода бестелесное распутство. Он словно слышит эти фразы: «До конца, насквозь, по самые яйца, до глотки».

Миньон влюбился, умер от любви.

Мне нравится так играть: я придумываю способы, как любовь настигает людей. Она приходит, как Иисус в самую сердцевину бурлящей толпы, еще она может прокрасться тайно, как вор.

Один парень, здесь, в камере, рассказал мне что-то вроде байки о том, как два соперника познакомились с Эросом. Рассказывал он так:

– Ты как думаешь, я на него запал? В тюряге. Мы каждый вечер раздеваться должны были, даже рубашку и штаны снимали, чтобы вертухай видел, что мы не проносим ничего втихаря, ну, там, нож, веревку, напильник. И мы там с одним парнем остались совсем голые. Я еще встал так сбоку, думаю, гляну, у него и вправду такой здоровый, как говорят? Ну так даже рассмотреть как следует не успел, жуть как холодно было. Он оделся быстро. Нет, ну, конечно, увидел кое-чего, такой х... шикарный! Я сразу забалдел, такой кайф! Прямо завидки берут. Говорю тебе! В общем, получил я по полной. (При этих словах все ждут: «Тут я и сдох»). Ну, в общем, началось у нас, дня три-четыре балдели.

Остальное нас не интересует. Любовь расставляет и не такие ловушки. Самые мерзкие. Самые неожиданные. Еще она очень любит совпадения. Какой-то мальчишка сунул два пальца в рот и издал оглушительный свист именно в тот самый час, когда душа моя, как натянутая до предела струна, только и ждала этого пронзительного звука, чтобы разорваться. Мгновения эти сошлись, и два существа полюбили друг друга до глубины души. «Ты солнце, взошедшее в моей ночи. Моя ночь – это солнце, взошедшее над твоей ночью!» Мы сталкиваемся лбами. Мое тело глубоко входит в твое тело, а твое тело входит в мое. Мы создаем новую вселенную. Все меняется... и мы это осознаем!

Любить друг друга, пока не расстанемся, как два юных борца в драке (не в сражении) рвут друг на друге трико и, обнаженные, изумляются, что так прекрасны, им кажется, будто они видят себя в зеркале, они на какое-то мгновение застывают в изумлении – как досадно попались, встряхивают спутанными волосами, улыбаются друг другу влажной улыбкой и вновь сплетаются, как два борца в греко-римской борьбе, когда невозможно разорвать сцепление мышц, и вот опускаются на ковер, и вверх взмывается струя теплой спермы, прочерчивая на небе млечный путь, куда вписываются и другие созвездия, которые я могу различить: созвездие Матроса, созвездие Боксера, созвездие Велосипедиста, созвездие Скрипача, созвездие Зуава, созвездие Кинжала. Так на стене мансарды Дивин прорисовывается новая карта звездного Неба.

Однажды после прогулки по парку Монсо Дивин возвращается в свою мансарду. А в вазе стоит черная корявая вишневая ветка с распустившимися розовыми цветами. Дивин возмущена. В деревне крестьяне научили ее относиться с уважением к фруктовым деревьям, не считать их цветы украшением или орнаментом, она никогда больше не сможет ими восхищаться. Сломанная ветка оскорбляет ее, как вас оскорбило бы убийство прекрасной девушки. О своем горе она поведала Миньону, который в ответ хохочет во весь рот. Он, дитя большого города, насмехается над крестьянскими суевериями. Чтобы покончить с этим, чтобы прекратить святотатство, чтобы преодолеть его в каком-то смысле, а может, просто из раздражения, Дивин обрывает цветы. Пощечины. Крики. И наконец любовное смятение, потому что, когда она касается самца, все оборонительные жесты становятся ласками. Кулак, занесенный для удара, сам раскрывается, как цветок, и пальцы нежно касаются щеки. Сильный самец слишком силен для этих слабых «теток». Стоило Секу Горги слегка приласкать в

штанах, совсем, казалось бы, незаметно, вздувшийся бугор своего огромного члена, чтобы они, ни одна из них, не могли больше оторваться от него, который притягивал их, как магнит притягивает железные стружки, притягивал помимо своей воли. Дивин, которая сама была физически не слабой, вполне хватило бы сил, но она стыдилась самого отпора, ведь отпор – это так мужественно, стыдилась и гримасы на лице, и притворства тела, от которого требуется определенное усилие. А еще она стыдилась мужских эпитетов, когда они относились к ней. На арго Дивин тоже не говорила, ее товарки тоже. Это было ей противно, как было противно издать при помощи языка и зубов залихватский свист, или сунуть – и не вынимать – руки в карманы штанов (откинув назад полы расстегнутой куртки), или подтянуть брюки, ухватившись за пояс и помогая себе бедрами.

Что касается «теток», то у них имелся особый язык. Арго служил мужчинам. Это был язык самцов. Так у караибов язык мужчин служил вторичным половым признаком. Он был чем-то вроде оперения птиц-самцов или шелкового цветистого одеяния, на которое имели право только воины племени. Он был петушиным гребнем и шпорами. Понять его могли все, но говорить на нем имели право лишь мужчины, которые по праву рождения получили в дар эти жесты, эту осанку, эту посадку бедер, эти руки, ноги, глаза, грудь, при помощи которых все это можно сказать. Как-то раз в одном из наших баров, когда Мимоза позволила себе такие слова: «...эти хреновые истории», мужчины нахмурились: кто-то из них произнес, как угрозу:

– Девка корчит крутую.

Арго на устах мужчин будоражило «теток», но их куда меньше будоражили придуманные слова, свойственные этому языку: (такие, как, например: трескун, ночнуха, плясун), чем выражения, пришедшие из привычного мира, но изнасилованные самцами, приспособленные ими к своим таинственным надобностям, извращенные, искаженные, втопанные в грязь и в их постель. Так, например, они говорили: «Тихой сапой», или еще: «Встань и иди». Последняя фраза, вырванная из Евангелия, падала из губ или оставалась в уголке рта крошкой табака. Она произносилась тягучим голосом. Она завершала рассказ о приключении, которое закончилось для них благополучно.

– Встань... – говорили они.

А еще они произносили нараспев:

– Лажа.

И потом еще: «Припухнуть». Но для Миньона это слово имело не тот смысл, что для Габриэля (солдат, что придет и произнесет эти слова, которые очаровывают меня и, так мне кажется, приличествуют только ему: «Теперь мой удар»). Миньон понимал это так: нужно держать ухо востро. Габриэль думал: надо заглухнуть. Ведь только что в моей камере два вора сказали: «Пора разбирать койки». Они имели в виду – пора стелить постели, но я принял их сигнал, и яркая вспышка высветила меня же, который стоял, раздвинув ноги, словно мускулистый страж или конюший, или дворецкий на пороге спальни: кому-то разбирать девиц на балу, кому-то разбирать кровати.

Когда Дивин слышала эту тарабарщину, она просто ослабевала от желания, как если бы освобождала – ей казалось, что она расстегивает ширинку, что ее рука проникает под рубашку, – некоторые слова яванского языка от их лишних слогов, будто снимая украшение или маскарадный костюм: тюрьбима, койвака.

Этот жаргон направил своих тайных посланцев во французские деревушки, и даже Эрнестина поддалась его очарованию.

Она повторяла про себя: «Голуаз, папироса, сигарета». Она падала в кресло, шептала эти слова, глотая медленный дымок сигареты. Чтобы никто не прознал о ее слабости, она закрывалась в комнате на задвижку и курила. Как-то вечером, войдя в спальню, она увидела, как из мрака блеснул огонек сигареты. Она испугалась так, словно ей угрожали револьве-

ром, но страх длился недолго и вскоре превратился в надежду. Победенная одним лишь присутствием мужчины, она сделала несколько шагов и рухнула в глубокое кресло, но тем временем огонек исчез. Уже с порога она поняла, что в зеркальной дверце шкафа, стоявшего прямо напротив двери, отсеченного темнотой от остальной комнаты, увидела огонек сигареты, которую сама и зажгла, чиркнув спичкой в сумрачном коридоре. Можно сказать, что ее настоящее бракосочетание произошло именно тогда, в тот самый вечер. Ее супругом стало то, что объединяет мужчин: «Сигарета».

Сигарета еще сыграет с ней злую шутку. Идя по главной деревенской улице, она наткнулась на местного негодяя, похожего на тех, чьи лица я вырезал из журналов; он шел, насвистывая, с окурком, прилипшем в уголке сжатого рта. Поравнявшись с Эрнестиной, он наклонил голову и, казалось, взглянул на нее с мечтательной нежностью, а Эрнестина подумала: это на нее он смотрит «дерзким, призывным взглядом», но в действительности же такое выражение лица получилось потому, что дымок от сигареты попал ему в глаза и заставил прищуриться. Он прищурился снова, скривил губы, и получилось нечто похожее на улыбку. Эрнестина мгновенно приосанилась, но тут же постаралась сдержать себя, и приключение не получило продолжения, потому что в то же самое мгновение этот деревенский повеса, который Эрнестины даже не заметил, почувствовал, как рот его улыбается, а глаза щурятся, он мгновенно взял себя в руки, всем своим видом давая понять, что все это было сделано специально, а он сам прекрасно собой владеет.

И другие выражения тоже смущали ее, как могут волновать и смущать – и одновременно завораживать своим причудливым сочетанием – такие слова: «Золотые горы», и особенно эта фраза: «Схватить за яйца и утащить в Тартар», которую ей хотелось бы просвистеть и протанцевать на мелодию явы. О своем кармане она говорила «Мои закрома».

Про свою подругу: «Он ей навесил кренделей». О красивом мальчике, проходящем мимо: «У него на меня стоит».

Не думайте, что именно от нее Дивин заразилась страстью к арго, потому что за самой Эрнестиной этого не водилось. Слово «сварганить», произнесенное хорошеньким детским ротиком – так считали и мать, и сын – превратило бы того, кто его говорил, в надутую ворчуна, коренастого, с расплюснутым бульдожьим лицом, как у молодого английского боксера Крана, чью фотографию, среди двадцати других, я тоже прилепил на стену камеры.

Миньон ходил сам не свой. Только что он придушил одного голландца-педика и обокрал его. Теперь его карман набит флоринами. В мансарде царит радость, какую дарит только безопасность. Ночью Дивин и Миньон спят. Днем они на скорую руку обедают, беззлобно переругиваются, забывают заниматься любовью, включают радио, которое что-то там бормочет, курят. Миньон желает ни пуха ни пера, а Дивин, чтобы быть поближе, еще ближе, чем святая Катерина Сиенская, которая провела ночь в камере смертника, положив голову ему на яйца, Дивин читает детектив. На улице дует ветер. В мансарде тепло и уютно, она обогревается электрическим радиатором, мне бы хотелось подарить немного покоя и даже счастья этой идеальной супружеской паре.

Окно распахнуто на кладбище.

Пять часов утра.

Дивин слышит колокольный звон (ведь она бодрствует). Вместо нот с колокольни взлетают и падают на мостовую удары, пять ударов падают на мокрую мостовую, и вместе с ними падает Дивин, которая три или четыре года назад в этот же самый час бродила по улицам маленького городка в надежде отыскать кусок хлеба в мусорных отбросах. Она всю ночь скиталась по улицам под морозящим дождем, жалась к стенам домов, пытаясь хоть немного спрятаться от дождевых капель и дожидаясь колокольного звона (вот с колокольни раздается призыв к утренней церковной службе, и Дивин словно заново переживает весь этот ужас бесприютных дней: бездомный бездомный ужас), который извещает, что церкви

открыли, наконец, свои двери и готовы принять старых дев, истинных грешников и клошаров. Утренний колокольный звон, ворвавшийся в уютную мансарду, вновь превращает ее в бродяжку в промокших лохмотьях, которая входит в церковь, чтобы послушать мессу и причаститься, но главное – согреться и дать отдых уставшим ногам. Горячее тело спящего Миньона сплетено с ее телом. Дивин закрывает глаза, и в тот момент, когда веки смыкаются, отделяя ее от утреннего, пробуждающегося мира, начинает падать дождь, вызывая внезапное и настолько пронзительное счастье, что она громко, на выдохе, произносит: «Я счастлива». Она собиралась уже уснуть, но словно для того, чтобы она еще сильнее прониклась этим счастьем замужней женщины, приходят – уже безо всякой горечи – воспоминания о том времени, когда она звалась Кулафруа и, сбежав из крытого шифером дома, оказалась в маленьком городке, где утренними часами, золотисто-розоватыми или бледно-тусклыми, клошары с кукольными душами – взглянуть на них – они могут показаться наивными – сходятся друг с другом, обмениваясь почти братскими жестами. Они только что поднялись со скамейки на Аллее, где проспали ночь, со скамейки на Оружейной площади или пробудились на лужайке городского сада. Они поверяют друг другу тайны Ночлежек, Тюрем, Жандармерий. Молочник их не трогает. Он свой. На эти несколько дней Кулафруа тоже стал своим. Его дневной рацион состоял из нескольких засохших пополам с волосами хлебных корок, найденных в мусорном баке. Однажды вечером, тем вечером, когда он был особенно голоден, ему даже захотелось убить себя. Самоубийство стало его навязчивой идеей: о песня фенобарбитала! Случались приступы, подводившие его так близко к смерти, что я задаю себе вопрос, как ему удалось спастись, какой незаметный толчок – и чей толчок? – отбросил его от края? Но однажды у меня под рукой может оказаться пузырек с ядом, и мне достаточно будет поднести его ко рту; потом останется только ждать. Ждать в невыносимой тревоге последствий этого неслыханного действия и восхищаться чудом действия безвозвратно-непоправимого, влекущего за собой конец света, которое явилось следствием жеста столь незначительного. Меня никогда особенно не поражало то, что малейшая неосторожность – порой даже меньше, чем жест, полужест, незавершенный жест, который хотелось бы взять назад, отменить, передвинув назад стрелку часов, такой безобидный и еще такой близкий, который еще можно было бы стереть – Нельзя! – может довести, к примеру, до гильотины; не поражало до того дня, когда я сам, сделав такой вот незаметный жест, что вырываются у вас поневоле, почти без вашего ведома, но которые невозможно отменить, увидел свою гибнущую душу и тотчас же ощутил гибель несчастных, которым ничего не остается, как признаться. И ждать. Ждать и успокоиться, потому что гибель и отчаяние возможны лишь тогда, когда существует хоть какой-нибудь выход, явный или тайный, ждать и довериться смерти, подобно тому, как некогда Кулафруа доверился неприступным змеям.

До сих пор наличие под рукой пузырька с ядом или кабеля под напряжением никогда не совпадало с периодами помутнения рассудка, но Кулафруа, а позже Дивин будут страшиться этого момента и готовиться к нему, избранному Провидением, очень рано, чтобы смерть свершилась безвозвратно и непоправимо, как следствие их решимости или их усталости.

В том городе он скитался наугад по темным улицам, бессонными ночами. Он останавливался, рассматривая богатые интерьеры через окна, через гипюровые занавески с тщательно выделанными узорами: цветы, акантовые листья, амур с луками, кружевные лани, и эти интерьеры в нишах массивных, сумрачных алтарей казались ему прикрытыми вуалью дарохранильницами. Перед окнами и по бокам от них уличные фонари-свечи всходили почетным караулом на ветки деревьев с еще не облетевшей листвой, которые выстраивались, словно букеты лилий из эмали, металла или материи на ступенях алтаря базилики. Словом, это были выдумки детей-бродяжек, для которых мир опутан некоей магической сеткой, которую они сами ткут, разматывая нити из большого пальца ноги, проворного и твердого, как у балерины Павловой. Такие дети невидимы. Контролер не замечает их в вагоне, а полицей-

ский на перроне, даже в тюрьмы они как будто проникают тайком, обманным путем, как табак, чернила для татуировок, лунный или солнечный свет, мелодия из фонографа. Малейший их жест обнаруживает их, как зеркало, на которое однажды обрушивается их кулак, оставив серебряную трещину-паутинку, он запирает в тюремную камеру вселенную, состоящую из домов, ламп, колыбелей, крещенских купелей, вселенную людей. Ребенок, о котором мы говорим, был настолько далеко отсюда, что из всех своих скитаний оставил в памяти одно: «В городе у женщин такие красивые траурные платья». Он так одинок, что любое несчастье или страдание, свое или чужое, трогает его до слез: сидящая на корточках старуха, напуганная внезапным появлением ребенка, описалась на свои черные нитяные чулки; стоя перед витриной ресторана, искрящегося светом, хрусталем и серебром, еще пустом, без посетителей, он в оцепенении наблюдал драмы, которые разыгрывали официанты во фраках, обменивающиеся изысканными репликами, оспаривающие место по рангу, и так до появления первой изящной пары, которая прерывает этот спектакль; педерасты, которые дали ему всего пятьдесят сантимов и сбежали, переполненные счастьем на целую неделю; на крупных узловых станциях он из зала ожидания ночью разглядывал бесчисленные рельсы, по которым сновали мужские тени с навьюченными на них тоскливыми сигнальными прожекторами; у него болели ноги и плечи. Ему стало холодно.

Дивин хорошо помнит эти мгновения, самые тяжелые для бродяги: ночью, когда машина на дороге высвечивает его, выставляя напоказ, ему и себе, убогие лохмотья.

Тело Миньона пылает. Дивин все еще в своем убежище. Я не знаю, снится ли ей сон или она вспоминает: «Однажды утром (как раз на заре) я постучала в твою дверь. Я не могла больше скитаться по улицам, натываясь на старьевщиков и мусорные баки. Я искала твою кровать, утонувшую в кружевах, кружевах, океане кружев, вселенной кружев. Из самой дальней дали боксерский кулак заставил меня скатиться в узкую сточную канаву». Тут-то и раздается колокольный звон. Теперь она засыпает в кружевах, и парят их обрученные друг другу тела.

Этим утром, после ночи, когда я слишком сильно ласкал своего друга, меня вырвал из сновидения шум ключа в замочной скважине: тюремный сторож явился за отходами. Я поднимаюсь и ковыляю до параша, еще не совсем очнувшись от своего странного сна, в котором смог *получить прощение от своей жертвы*. Я по горло окунулся в ужас. Ужас входил в меня. Я пережевывал его. Я был им переполнен. Он, моя юная жертва, сидел возле меня и свою обнаженную правую ногу не скрестил с левой, а просунул под ляжку. Он не произносил ни слова, но я знал наверняка, что он думал: «Я все рассказал следователю, ты прощен. Впрочем, я сам буду присутствовать в суде. Ты можешь сознаться. И запомни: ты прощен». Потом, как это бывает только во сне, он вдруг превратился в крошечный труп, размером с фигурку в пироге с сюрпризом на день Богоявления, не больше, чем вырванный зуб, он лежал в бокале шампанского среди греческого пейзажа с обломками кольчатых колонн, вокруг которых развевались, опутывая их, как серпантин, длинные белые кольчатые черви, и все это в специфическом, как в сновидениях, свете. Не помню точно своего тогдашнего состояния, но знаю наверняка: я поверил его словам. И пробуждение не лишило меня этого ощущения: я прощен. Но о том, чтобы вновь соприкоснуться с предметным, осязаемым миром камеры, не могло быть и речи. Я ложусь вновь в ожидании, когда начнут раздавать хлеб. Ночная атмосфера, запах, исходящий от переполненной дерьмом и желтой жидкостью параша, заставляют детские воспоминания вздыбиться, как изрытая кротами черная земля. Одно влечет за собой другое и заставляет его внезапно появиться на свет; вся жизнь, которую я считал скрытой под землей и окончательно похороненной, вдруг оказывается на поверхности, на воздухе, под грустным солнцем, и это придает им запах гниения, которым я упиваюсь. Смутные воспоминания, заставляющие меня страдать сильнее всего, это воспоминания о сортире в доме с шиферной крышей. Он был моим убежищем. Далекая и невнят-

ная жизнь, которую я воспринимал через его сумрак и запах – запах, вызывающий умиление, в котором все перебивали ароматы бузины и жирной земли, поскольку туалет находился на самом краю сада, возле изгороди, – эта жизнь представлялась мне в особенности нежной, ласковой, легкой, или, вернее, облегченной, лишенной силы тяготения. Я говорю о той жизни, что находилась вне сортира, обо всем остальном мире за пределами моего крошечного убежища из досок, изъеденных насекомыми. Мне казалось, что жизнь не течет, а плывет наподобие цветных снов, а я в своей дыре, похожий на маленькую личинку, наслаждался покоем ночного существования, порой мне казалось, что я погружаюсь то ли в сон, то ли в некое озеро, то ли в материнскую грудь, то ли – что было бы incestом – в духовное средоточие земли. Мои моменты счастья никогда не были светлым счастьем, а мой покой не был тем, что писатели и теологи называют «блаженным покоем», и это прекрасно, потому что я бы ужаснулся, окажись я там, куда указал перст Бога, будь я отмечен Им; я прекрасно понимаю, что если бы меня, больного, исцелило чудо, я бы этого не пережил. Чудо отвратительно: покой, который я собирался искать в отхожих местах, в воспоминаниях о них, это и есть покой умиротворяющий и пленительный.

Иногда начинал идти дождь, я слышал, как капли ударяются о цинковую крышу; и тогда к моему печальному блаженству, моему мрачному наслаждению примешивалась еще и скорбь. Я приоткрывал дверь, и вид намокшего сада, исхлестанных струями стеблей приводил меня в отчаяние. Сидя на корточках в этой камере, забравшись, как на насест, на деревянное сиденье, когда душа моя и тело оказывались во власти этого запаха и этого сумрака, я был до странности взволнован, потому что самая скрытая часть существа проявлялась именно здесь, как в исповедальне. Пустые исповедальни будили во мне ту же нежность. Там валялись старые журналы с гравюрами, на которых у женщин, одетых по моде 1910 года, непременно были муфты, зонтики и платья с турнюром.

Я не сразу научился пользоваться колдовским оружием этих низших сил, которые тянули меня к себе за ноги, которые махали вокруг меня своими черными крыльями, трепещущими, как ресницы обольстительницы, и погружали свои самшитовые пальцы прямо в мои глаза.

В соседней камере спустили воду. Поскольку две наши параша сообщаются, в моей зашевелилась вода, волна запаха пьянит меня, в трусах бьется отвердевший член и, соприкоснувшись с ладонью, упирается в одеяло, образуя на его поверхности холм. Дивин! Миньон! А я один здесь.

Особенно я люблю Миньона, вы ведь не сомневаетесь, что в конечном итоге это моя судьба, истинная или придуманная, и я примеряю ее к Дивин, облачая ее то в рубище, то в судейскую мантию.

Медленно, но верно я отбираю у нее все, что можно назвать счастьем, чтобы сделать святую. Огонь, которые ее обугливает, уже спалил тяжелые оковы, но ее связывают новые: Любовь. Рождается новая мораль, которая не имеет ничего общего с общепринятой моралью (она под стать Дивин), но все же это мораль, со своими понятиями о Добре и Зле. Дивин не стоит за пределами добра и зла, там, где должны жить святые. А я веду ее за руку, не злой гений, а добрый.

Вот «Дивинарий», составленный специально для вас. Поскольку мне хочется, застигнув ее врасплох, показать несколько мгновений ее жизни, пусть читатель сам почувствует, как течет время, и давайте условимся, что в первой главе ей будет от двадцати до тридцати лет.

ДИВИНАРИЙ

Дивин говорит Миньону: «Ты мое Безумие».

Дивин скромна. О роскоши она догадывается лишь по некоей таинственной субстанции, которую она источает и которой она страшится. В роскошных отелях, как и в ведьминских пещерах, томятся в плену воинственные чары, которые какой-нибудь наш жест может высвободить из мрамора, из ковров, бархата, черного дерева, хрусталя. Немного разбогатев после истории с одним аргентинцем, Дивин стала приобщаться к роскоши. Она купила несколько кожаных чемоданов, одуряюще пахнувших мускусом. По семь-восемь раз на дню она садилась в поезд, входила в вагон первого класса, размещала чемоданы на багажных полках, устраивалась на подушках и за несколько секунд до свистка звала двух-трех носильщиков, выходила, брала машину, приказывала отвезти себя в какой-нибудь шикарный отель, где какое-то время и пребывала, незаметная и молчаливая. Целую неделю она так играла в звезду, и теперь она умеет ходить по коврам, разговаривать с лакеями, жить среди роскошных интерьеров. Она приручила роскошь и спустила ее на землю. Отныне все эти изгибы и завитки на мебели в стиле Людовика XV, в рамках картин и на деревянных панелях сообщают ее жизни – которая, похоже, теперь расстилается перед ней, как парадная лестница, – флёр изящества и элегантности.

– Смерть это вам не пустяк. – Дивин страшится, что это торжество застанет ее врасплох. Она хочет умереть достойно. Как тот младший лейтенант авиации шел в бой в парадной форме, чтобы смерть, залетев в его самолет, его бы опознала и поняла наверняка, что это офицер, а не какой-нибудь там механик. При себе Дивин всегда носит пожелтевший и заляпанный жирными пятнами диплом о высшем образовании.

– Да он глуп, как... (Мимоза собирается сказать: пробка).

Дивин сладким голосом: попка.

У нее всегда при себе спрятанный в рукаве небольшой веер из марли и слоновой кости. Если ей приходилось произнести слово, которое ее смущало, она с быстротой фокусника вытаскивала из рукава веер, раскрывала его, и нижняя часть ее лица оказывалась прикрыта этим трепещущим крылом. Веер Дивин всю ее жизнь будет легко порхать вокруг нее. Она впервые вывела его в свет в лавке у продавца домашней птицы на улице Лепик. Дивин пришла с приятельницей покупать курицу. Они стояли в магазине, когда туда вошел сын хозяина. При виде его Дивин захихикала, позвала подружку и, ткнув пальцем в перевязанную бечевкой тушку на прилавке, воскликнула: «О! Смотрите, какая красotka!» – и ее веер вспорхнул к покрасневшим щекам. Она еще раз взглянула на хозяйского сына полными слез глазами.

– На бульваре полицейские задержали слегка пьяную Дивин. Она высоким голосом распевает «Приди, Создатель». И все прохожие превращаются в пары новобрачных в фате из белого тюля, они преклоняют колени на обитые тканью скамеечки для молитвы; два полицейских вновь видят себя мальчиками-шаферами на свадьбе у кузины. Но они все равно ведут Дивин в участок. Всю дорогу она ластится к ним, а у тех встает в штанах, они сжимают ее все сильнее и нарочно спотыкаются, чтобы притиснуться бедрами. Их огромные члены бьются отчаянными всхлипывающими толчками в ширинку форменных драповых штанов. Они настойчиво стучат, требуя впустить, как клирик в запертую дверь церкви на Вербное воскресенье. Проститутки на бульваре, молодые и старые, смотрят, как идет Дивин, уносимая этой торжественной свадебной песней, «Приди, Создатель»:

– Ей наручники наденут!

– Как матросу!

– Или каторжнику!

– Как роженице!

Люди проходят, сами не выделяясь из толпы и нечего не видя, они ничего не знают, их спокойствию ничто не угрожает, подумаешь, какая ерунда: Дивин ведут, товарки жалеют ее.

Освободившись на следующий день, она опять заступила на свой пост на бульваре. Синее веко отекло:

– Боже мой, красавицы вы мои, я чуть было в обморок не упала. Жандармы меня удержали. Все они стояли вокруг и обмахивали меня платками в клетку. Прямо жены-мироносицы. Вытирают мне лицо, да не лицо, а Божественный Лик, и поют на все лады: очнитесь, Дивин! Очнитесь, очнитесь, очнитесь! – кричали они. Ну, просто песня!

Потом привели меня в мрачную камеру. И там на белой стене кто-то (О, этот КТО-ТО, который, должно быть (глагол «долженствовать»), их нарисовал, я стану искать его между плотных строк тяжеловесных страниц длинного романа, где столько таинственно-прекрасных, шаловливых пажей. Я развязываю, расшнуровываю камзол и штаны одного из них, он из свиты Черного Жана; я отпускаю его, злой перочинный ножик в одной руке, твердый член стиснут в кулаке другой, он стоит возле белой стены; вот он, юный преступник, с его беспощадной невинностью. Он прижимается щекой к стене. Ласкает языком вертикальную поверхность, и на прожорливой штукатурке тянется дорожка слюны. Проливается ливень поцелуев. Под влажными губами проступает контур невидимого кавалера, который сжимает его в объятиях, но бесчувственная стена поглощает его. И вот, охваченный тоской, измученный любовью, паж рисует...) нарисовал, мои милые, фарандолу ах! да-да, Красавицы мои, мечтайте и притворяйтесь пьяными, чтобы сбежать туда, я отказываюсь говорить это вам, но они были с крылышками, пухленькие, торжественные, как леденцовые ангелочки. Вокруг некоторых, самых прямых и сильных, обвивались клематисы, вьюнки, настурции и верткие коты. О, эти колонны! Одиночка стремительно улетала: я шалела, шалела, шалела!

О эти сладостные тюремные одиночки! После чудовищной подлости моего ареста, всех моих арестов, каждый из которых был первым, который явился мне во всей своей неотвратимости, словно взгляд из сердцевины вихря или вспышки, роковой, молниеносный, с самого пленения моих рук стальными браслетами, сверкающими, как драгоценный камень или блестящая теорема, тюремная одиночка, которую я отныне люблю, как можно любить порок, явила мне утешение, она утешила меня собой.

Запах тюрьмы это смесь запахов мочи, формалина и краски. Я узнаю его во всех застенках Европы, а еще я знаю, что этот запах станет, в конце концов, запахом моей судьбы. Когда я попадаю туда в очередной раз, я ищу на стенах следы моих прошлых пленений, то есть моих прошлых отчаяний, прошлых скорбей и желаний, которые какой-нибудь другой заключенный начертил здесь для меня. Я исследую поверхность стен в поисках следов, оставленных мне братом. Поскольку если мне не довелось узнать, что в точности означает дружба, просто дружба двух мужчин, какие отзвуки оставляет она в их сердце и, возможно, на коже, в тюрьме я мечтаю порой о братских узах, но обязательно с красивым мужчиной моего возраста, которому я буду всецело доверять, который станет мне сообщником в любви, в кражах, в моих преступных желаниях; впрочем, это не слишком прибавляет мне знаний об этой дружбе, о запахе их – двух мужчин, тайной близости, потому что именно на данный случай у меня припасена маска мужественного самца, который знает, что таковым не является. Я ищу на стенах откровения о каких-нибудь ужасных тайнах: убийствах, главным образом, убийствах мужчин, или предательства, или осквернения мертвых, и я бы стал блистательной гробницей для этих тайн. Но всегда находил лишь редкие слова, нацарапанные на штукатурке булавкой, признания в любви или ненависти, но чаще – знаки покорности судьбе.

«Жожо Бастош – твой навеки». «Сердце – матери, х... – шлюхам, голова – Дейблеру»¹. Эти наскальные надписи почти всегда выражают чувства к женщине, иногда это дурные строфы, которые известны всем дрянным мальчишкам во Франции:

Если почернеет снег
И начнут хвалить Иуду,
С той минуту я навек
Про тюрьму свою забуду.

А эти флейты Пана, которые делают отметки прожитым дням!

И наконец, удивительная надпись, выгравированная на мраморе над парадным въездом: «Торжественное открытие тюрьмы 17 марта 1900», которая заставляет меня представить кортеж официальных мужей, торжественно ведущих на заклание первого заключенного.

– Дивин: «Мое сердце на ладони, а ладонь дырявая, а рука в сумке, а сумка закрыта, и мое сердце в плену».

– Доброта Дивин. Каким всеобъемлющим и непобедимым было ее доверие к мужчинам с правильными, четкими чертами лица, с густыми волосами, и чтобы прядка непременно падала на лоб, и доверие, казалось, было неотделимо для Дивин от очарования этих лиц. Ее часто обманывали, ее-то, с ее живым и критическим умом. Она это внезапно поняла, и ей захотелось противостоять такому поведению, и разумный скептицизм, борясь с чувственностью, победил и поселился в ней. Но ее обманывают по-прежнему, потому что она чересчур увлекается совсем молодыми мужчинами, к которым чувствует непреодолимое влечение. Она отвечает на их признания в любви улыбкой или иронией, за которыми напрасно пытается скрыть слабость (это слабость продажной девки перед вздыбленной ширинкой Горги), а еще свои усилия не поддаться их плотской красоте (заставить их дорого заплатить), между тем как они тут же возвращают ей эту улыбку, еще более горькую и жестокую, как если бы, отраженная зубами Дивин, она, эта улыбка, отскочила от их зубов, еще более острых, холодных, ледяных, холодно-прекрасных.

Но чтобы наказать себя за то, что дурно себя вела с дурными людьми, Дивин возвращается в тюрьму и унижается перед котами, а те ничего не понимают. И все-таки ее доброта порой доходит до щепетильности. Так, однажды, возвращаясь в тюремном фургоне из суда, куда она часто попадала, особенно за торговлю наркотой, она спрашивает у какого-то старика:

– Сколько?

Он отвечает:

– Впаяли три года. А тебе?

И она, которой дали всего два месяца, отвечает:

– Тоже три.

– Четырнадцатое июля: везде синий, белый, красный. Дивин нарочно одевается в другие цвета, ей жалко их, несправедливо позабытых.

¹ Анатоль Франсуа Дейблер (1863–1939) – знаменитый французский палач. За свою 54-летнюю карьеру казнил ок. 400 заключенных.

Дивин и Миньон. На мой взгляд это идеальная любовная пара. Из своей черной вонючей тюрьмы, под колючим шерстяным одеялом, вдыхая запах пота и пяля глаза в темноту, я смотрю на них.

Миньон это великан, его кривые ступни занимают половину земного шара, когда он стоит, расставив ноги, в шелковых, небесного цвета штанах с напуском. У него торчит. Так сильно и победоносно, что анусы и влагалища натягиваются на его член, как кольца на палец. У него торчит. Так сильно и победоносно, что его мужское достоинство, на которое любуются небеса, обладает проникающей силой батальонов белокурых воинов, которые отымели нас 14 июня 1940 года медленно, степенно, отвернув глаза, шагая в пыли под палящим солнцем. Но они – всего лишь отражение Миньона, изогнутого и напряженного. Их окаменелость не позволяет им стать очарованными котами.

Я закрываю глаза. Дивин: тысячи пленительных очертаний, которые изначально были моими глазами, ртом, локтями, коленями, уж и не знаю чем. Они говорят со мной: «Жан, какое счастье жить в теле Дивин и быть одной семьей с Миньоном».

Я закрываю глаза. Дивин и Миньон. Для Миньона Дивин всего лишь случайность. Если он вдруг и подумает о ней, то поведет плечами, чтобы избавиться от этой мысли, стряхнуть ее с себя, как если бы эта самая мысль была когтистым драконом, взбравшимся ему на спину. Но для Дивин Миньон это все. Она заботится о его члене. Она неистово ласкает его, и нежные прозвища, к которым прибегают порой почтенные люди, желающие порезвиться: Малыш, Младенец в колыбельке, Иисус в яслях, Уголек, Братик, хотя она их и не произносит вслух, приобретают особый смысл. Ее сознание воспринимает их буквально. Жезл Миньона для нее одной и есть сам Миньон: ее предмет роскоши, предмет ее роскоши. Если Дивин и согласна видеть в этом мужчине не только горячий, с фиолетовым оттенком член, это потому, что она, стиснув его и насладившись его твердостью, может провести рукой дальше и добраться до ануса и вспомнить, что это углубление идет вверх, пронзая все тело, тело Миньона, и заканчивается бледным, изможденным лицом Миньона, лицом с его глазами, его носом, ртом, впалыми щеками, завитками волос, его капельками пота.

Я закрываю глаза под изъеденным молью одеялом. Расстегнув штаны, Дивин постаралась, чтобы ее мужчине было хорошо. Украсила лентами волосы и член, в петлицу ширинки продела цветок. (Так Миньон выходит по вечерам на прогулку с Дивин). Вывод: для Дивин Миньон не что иное, как блестящее воплощение божества на земле, чувственное выражение, символ некоего существа (Бога?), некой идеи, оставшейся на небе. Они разобщены. Дивин подобна Марии-Антуанетте, которая, будучи заключена в тюрьму (согласно моей истории Франции), волей-неволей вынуждена была освоить цветистое арго XVIII века и изъясняться на нем. Моя милая несчастная королева!

Когда Дивин орет: «Они потащили меня в суд!» – в памяти возникает графиня Соланж, в старинном платье с кружевным шлейфом, которую солдаты волокут за связанные запястья, на коленях, по плиточному полу Дворца правосудия.

– Я изнемогаю от любви, – говорит она.

Ее собственная жизнь замирала, но жизнь вокруг текла по-прежнему, ей казалось, что она плывет по течению времени, и, придя в ужас от мысли – ведь это такая скорость – что скоро коснется истоков, Первопричины, она быстро делала движение, которое вновь запускало ее сердце.

Еще о доброте этой ненормальной. Она задает какой-то вопрос юному убийце, с которым мы познакомимся чуть позже (это Нотр-Дам-де-Флёр, Богоматерь Цветов). Этот вопрос ни о чем причинил убийце такую боль, что лицо его исказилось буквально на глазах, и Дивин не могла этого не заметить. Тогда мгновенно, словно ринувшись в погоню за причиненной

ею же болью, стремясь догнать ее и остановить, спотыкаясь о слоги, захлебываясь в слюне, как захлебываются в слезах, она воскликнула:

– Нет-нет, прости, это я виновата!

А подруга этой супружеской пары самая сумасшедшая из всех, кого мне приходилось встречать здесь. Мимоза II. Мимоза Великая, Первая, теперь на содержании у какого-то старика. У нее своя вилла в Сен-Кло. Поскольку она любила Мимозу II, которая в ту пору работала в молочной лавке, то оставила ей свое имя. Номер II некрасива, ну и что? Дивин пригласила ее на девичник. Она пришла в мансарду около пяти. Они с Дивин расцеловали друг друга в щеки, стараясь, чтобы тела их не соприкасались. С Миньоном она по-мужски поздоровалась за руку, и вот она сидит на диване, на котором обычно спит Дивин. Миньон делал чай: у него были свои причуды.

– Как мило, что ты пришла, Мимо, мы так редко видимся.

– Сама виновата, дорогая. А я так просто обожаю твою каморку. Прямо домик кюре на краю парка. Когда твои соседи – мертвецы, это, наверное, так приятно!

В самом деле, вид из окна был прекрасным.

Иногда кладбище освещалось луной. Ночью из постели Дивин при лунном свете видела его очень четко и далеко в глубину. Этот свет был таким, что в высокой траве и под мраморными плитами можно было ясно различить призрачное шевеление мертвецов. Кладбище в обрамлении оконного проема было глазным хрусталиком, очерченным двумя веками, или еще лучше: оно было стеклянным синим глазом – как бывает у слепых, – лежащим в ладони чернокожего. Оно танцевало, это ветер шевелил траву и кипарисы. Оно танцевало, оно было мелодичным, и тело его колыхалось, как медуза. Отношения Дивин с кладбищем: оно проникло в ее душу почти так же, как некоторые фразы проникают в текст, то есть буковка там, буковка здесь. Кладбище было в ней, когда сама она находилась в кафе, на бульваре, в тюрьме, под одеялом, в сортире. Или, если хотите, кладбище присутствовало в ней почти так же, как в Миньоне жила собака, верная и покорная, и порой придавала взгляду сутенера звериную и грустную нежность собачьего взгляда.

Мимоза высовывается на улицу, в оконный проем Усопших и, выставив палец, ищет какую-то могилу. Отыскав ее, пронзительно вскрикивает:

– А, мерзавка, потаскуха, подохла, наконец! Ты тут тлеешь под холодным мрамором. А я вот хожу по коврам, сука!

– Ты чокнутая, – шепчет Миньон, который чуть было не выругался на тайном, сутенерском, языке.

– Миньон, может, я и чокнулся от любви к тебе, ужасный Миньон, но там, в могиле, лежит Шарлотта! Там Шарлотта!

Мы хотим, ведь мы-то знаем, что Шарлотта – это ее бабушка в глубине кладбища и место захоронения куплено пожизненно.

– А как там Луиза? (это отец Мимозы). А Люси? (ее мать), – спрашивает Дивин.

– А, Дивин, даже не спрашивай, просто прекрасно, и даже слишком. Никак не сдохнут, сволочи. Гады.

Миньон любил слушать, что рассказывают проститутки. Но особенно он любил, как они наедине рассказывают о себе. Он готовил чай и слушал, а на губах его изогнутой каравеллой блуждала улыбка. Улыбка Миньона никогда не была застывшей. Из-за некоей толики беспокойства она казалась мерцающей. Сегодня он обеспокоен более чем обычно, потому что вечером должен бросить Дивин: и Мимоза, ввиду этого события, кажется ему особенно неприятной и распутной. Дивин пока ничего об этом не знает. Ей предстоит внезапно осознать свое одиночество и предательство Мимозы. Потому что все провернули очень ловко. Роже, мужчина Мимозы, накануне уехал в Грив.

– Пусть там повоюет. Тоже мне, амазонка.

Однажды Мимоза сказала это при Миньоне, который предложил, в шутку, заменить Роже. Та и согласилась.

Наши пары, законы наших браков не похожи на ваши. Здесь живут без любви. Никакого священнодействия. Проститутки глубоко безнравственны. В мгновение ока, после шести лет связи, не считая себя обремененным какими-либо обязательствами, не стремясь нарочно причинить боль или обидеть, Миньон решил уйти от Дивин. Без угрызений совести, разве что некоторое беспокойство: вдруг Дивин больше не захочет его видеть. Что до Мимозы, она была просто счастлива, что причиняет боль, ведь перед ней была соперница.

А пока обе шлюхи мирно щебетали: какой плоской казалась их беседа и какой напряженной игра взглядами. Не опускались веки, не морщились виски, только металась справа налево, слева направо глазные яблоки, и взгляды перемещались по системе шарикоподшипников. Теперь послушаем, как они шепчутся, между тем как Миньон приближается и, неуклюжий, как слон, делает невероятные усилия, пытаясь расслышать. Мимоза шепчет:

– Киска, я особенно люблю, когда Он еще в штанах. Ты смотришь на Него, а Он твердеет. Это что-то! А потом идет складка и ползет до самых ног. Ты трогаешь и идешь вниз по складке, не нажимая сильно, и так до большого пальца. Как ангелочек порхает. Особенно здорово у матросов.

Миньон слегка улыбается. Ему все понятно. Этот Красавчик у мужчин его не волнует, но он не удивлен, что так взволнованы Дивин и Мимоза.

Мимоза говорит Миньону:

– Изображаешь из себя хозяйку дома. Лишь бы сбежать от нас.

Тот отвечает:

– Я делаю чай.

И словно понимая, что его ответ ни к чему не обязывает, он добавляет:

– О Роже ничего нет?

– Нет, – говорит Мимоза, – я вся такая одинокая.

Ей хотелось бы добавить: «Я вся такая несчастная». Если проститутке для выражения какого-нибудь сильного чувства не хватает жеста или голоса, они добавляют «Я вся такая...» доверительным тоном, почти шепотом, подчеркивая сказанное легким движением руки, словно умиряя невидимую бурю. Человек, знавший еще со времен Мимозы Великой эти отчаянные крики обретенной свободы, дерзкие жесты, вызванные избытком чувств, от которых сводило судорогой рот, блестели глаза, скалились зубы, задавал себе вопрос, какая загадочная нежность пришла на смену этим разнузданным страстям. Когда Дивин затягивала свою тяготию, она останавливалась, лишь истощенная до предела. Впервые услышав это, Миньон лишь посмотрел на нее в некотором недоумении. Это было у них дома, и произошедшее позабавило его, но когда Дивин попыталась опять начать свою литанию уже на улице, он сказал:

– А ну заткнись, краля. Перед друзьями неудобно.

Голос был таким холодным и суровым, что Дивин сразу узнала Голос Хозяина. И повиновалась. Но вы же знаете, нет ничего опаснее, чем такое вот одергивание. Как-то вечером у стойки бара на площади Клиши (куда Миньон из осторожности всегда приходил без нее) Дивин расплатилась и, беря сдачу, забыла оставить чаевые для официанта. Заметив это, она завопила так, что задребезжали стекла и замигал свет, от вопля вздрогнули собиравшиеся здесь обычно коты:

– Боже мой, я вся такая ненормальная.

И мгновенно две безжалостные пощечины, справа налево, заставили ее замолчать, прилив, низведя до размеров левретки, и теперь ее голова не доставала до стойки. Миньон был в бешенстве. Под неоновым светом его лицо казалось зеленым. Он сказал: «Проваливай!» А сам продолжал не спеша, до последней капли, тянуть свое пойло.

Эти вопли (Миньон как-то скажет: «Она вся обвопилась», как сказал бы: «Объелась» или «Обоссалась») были привычкой, которую Дивин стянула у Мимозы I. Когда они собирались небольшой компанией на улице или в своем кафе, их беседа (их рты и руки) вдруг взрывалась залпом цветов, а они при этом вели себя как ни в чем не бывало, говорили о вещах простых и привычных:

– Я вся из себя такая-такая-такая развратница!

– Ах, дамы, какая же я потаскуха.

– Знаешь (и это «а» тянулось так долго, что только оно и воспринималось слухом), аaaaaа, я просто притяааааагиваю несчааааастья.

– Ну ты смотри, какая фря.

Одна из них, когда ее остановил на бульваре инспектор:

– Кто вы такая?

– Я Мисс Трогательность.

Потом, понемногу, они стали понимать друг друга, когда просто говорили: «Я вся такая», а потом и «Я ВТ.»

Так и с жестами. У Дивин был один такой: она, доставая из кармана носовой платок, описывала рукой широкую окружность, прежде чем приложить его к губам. Вздумай кто-нибудь угадать, что собирается сделать Дивин, он бы ошибся, потому что у нее два жеста сливались в один. Первый жест был хорошо отработан, он как будто отклонялся от своего первоначального замысла, и его тут же подхватывал другой, как раз в том месте, где прерывался первый, подхватывал и завершал. Итак, вытащив руку из кармана, Дивин словно собиралась вытянуть ее и взмахнуть развернутым кружевным платком. Взмахнуть, словно в знак прощания непонятно с кем или чем, или стряхнуть пудру, которой там и не было, или, быть может, запах духов, но нет: это был лишь предлог. Бесконечный, безграничный жест был необходим, чтобы поведать эту стискивающую горло драму: «Я одинока. Спасите меня, если можете». Но Миньон, хотя и был не в силах уничтожить этот жест совсем, сумел все же несколько ограничить, подавить его, и жест хотя и не сделался банальным, как-то затушевался и стал казаться странным. Взволновав его, он его самого сделал ... волнующим. Имея в виду все эти ограничения и принуждения, Мимоза однажды сказала:

– Наши мужчины сделали из нас каких-то старых паралитиков.

Когда Мимоза ушла, Миньон стал искать предлог, чтобы поссориться с Дивин и бросить ее. Не нашел ничего. Это привело его в ярость, обращенную на нее же, он обозвал ее шлюхой и ушел.

И вот Дивин одна на свете. Кого дать ей в любовники? Этого цыгана, чья фигура, вознесшаяся, как на котурнах, на высоких каблуках марсельских башмаков, похожа на гитару? Его ноги обнимают и плотно сжимают на ягодицах матросские брюки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.